



Бѣлогвардейскій романъ



Враги



Я. Лович



Белогвардейский роман

ЯКОВ ЛОВИЧ

Враги

«ВЕЧЕ»

1941

Лович Я. Л.

Враги / Я. Л. Лович — «ВЕЧЕ», 1941 — (Белогвардейский роман)

ISBN 978-5-4444-7270-5

Издательство «Вече» представляет новую серию художественной прозы «Белогвардейский роман», объединившую произведения авторов, которые в подавляющем большинстве принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. на стороне Белого движения. Яков Львович Лович (Дейч), прапорщик Российской императорской армии, герой Великой войны, не признавший новой власти. Лович вступил в ряды армии адмирала Колчака и воевал против красных до самого конца, а затем уехал в Маньчжурию. Особой темой для писателя Ловича стали кровавые события 1920 года в Николаевске-на-Амуре, когда бандиты красного партизана-анархиста Якова Тряпицына уничтожили этот старый дальневосточный город. Этой трагедии и посвящен роман «Враги», который Яков Лович создал на основе собственного расследования, проведенного во время Гражданской войны. Написанная ярким и сочным языком, эта книга вскоре стала самой популярной в русском зарубежье в Азии.

ISBN 978-5-4444-7270-5

© Лович Я. Л., 1941

© ВЕЧЕ, 1941

Содержание

Писатель в изгнании	5
Враги	8
Часть первая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Яков Львович Лович

Враги

Писатель в изгнании

Говорят – рукописи и книги не горят. Но тогда почему так мало переиздают русских дальневосточных писателей, которые были вынуждены покинуть Родину при известных событиях 1922 года? Ведь среди них было немало тех, чьи имена в своё время блистали на литературном небосклоне русского зарубежья. Например, Яков Львович Лович-Дейч, о творчестве которого немало спорили и в Европе.

Яков Дейч родился 28 декабря 1896 года (по старому стилю) в Вильно в семье известного революционера. В 1915 году он окончил Благовещенскую мужскую гимназию, а затем продолжил учёбу в Московском университете. Весной 1916 года Яков был призван в действующую армию. Пройдя обучение в Царицынском студенческом учебном батальоне, бывший студент окончил затем 3 Московскую школу прапорщиков. На фронте офицер проявил незаурядную храбрость. Летом 1917 года в бою под Ригой он был контужен в голову. Вступив позже в армию адмирала Колчака, в боях с Красной армией получил лёгкое пулевое ранение. Поправившись, до 1920 года он служил следователем при военно-полевом суде, а также занимал должность прокурора по политическим и уголовным делам.

9 ноября 1922 года Яков Львович Дейч приехал из Йокогамы в Маньчжурию. До 1926 г. он работал в харбинской библиотеке Д.Н. Бодиско, затем журналистом газеты «Рупор». Тогда-то и изменил свою фамилию на Лович. В автобиографии он писал: «Я – сын правого социалиста (плехановца) Льва Григорьевича Дейча, но встречался с ним в своей жизни только два раза и никогда не разделял его убеждений, что, как мне кажется, и доказал, пойдя на войну и борясь за Родину. Отец принадлежал к правым социалистам, а потому подвергался преследованиям со стороны большевиков. В 1918 году, когда армия развалилась, я бежал в Петербург, где встретился с отцом во второй раз в жизни и он, зная, что я никогда не смогу работать с большевиками, помог мне достать солдатские документы, дал мне денег и я уехал в Амурскую область. С тех пор я никогда отца не видел, ибо в Россию не возвращался. В 1923 году в Харбине, служа в библиотеке Бодиско, я прочёл в журнале «Русская Мысль» (книга III, стр. 63), что мой отец арестован чекистами. В библиотеке брали книги и чины советского консульства. Через Бодиско я узнал от этих господ, что отца арестовали за то, что его сын (т. е. я) работал в полевом суде. Г-ну Бодиско было сказано (через некоторое время, по-видимому, после сношения с Москвой), что моего отца расстреляют, если его сын не принесёт повинной, не сдастся на милость победителей-большевиков и не поедет в РСФСР. «Долг платежом красен» – я решил ответить отцу тем, что он сделал для меня в Петербурге, рискуя своей головой. Я пошёл в консульство и подал прошение о совподданстве».

К счастью для Ловича, его заявление не получило никакой реакции от Советского консульства, и в 1937 году он решил переехать в Шанхай, где стал журналистом в газете «Шанхайская Заря». Он сотрудничал в харбинском журнале «Рубеж» со времени его основания, а также печатал свои рассказы в журнале «Грани» (Шанхай), который издавало объединение «Вестник Российского эмигрантского комитета» и журнал «Кстати» (Шанхай). В 1931 году в Харбине он выпустил рассказы о любви «Её жертва». Как было написано в рецензии, «для Харбина выход книги Я. Ловича стал большим событием, ибо в нашем эмигрантском существовании издать книгу, да ещё художественно издать – вещь далеко не лёгкая». А вот что писал известный поэт Арсений Несмелов в харбинской газете «Рупор» об этом сборнике: «...книга волнует тем, что обстановка, среди которой действуют и любят герои Ловича, – это бытие нашего сегодняшнего

эмигрантского дня. Когда герои его бывают пошлы, на губах автора чувствуется насмешливая улыбка. Но улыбка эта не злая. Лович фотографирует, бытописует, но никогда не осуждает. Там же, где герои его страдают, где они решаются на подвиг – автор сочувствует им и стиль его прозы становится напряжён от пафоса сострадания».

Через год в Харбине вышел роман Я. Ловича «Что ждёт Россию». Это нашумевшее произведение было написано еще осенью 1921 года в японской рыбацкой деревне Минега-Хара, где он оказался по пути из Японии в Китай. В ней русский писатель из Китая предсказал убийство президента Франции Поля Думера. «Возможно, – писали в Шанхае, – что способность заглядывать в даль, в тьму неизвестного будущего окажется характерной и для остальных, заключительных глав романа «Что ждёт Россию». Почему угадав многое, ему бы не угадать и дальнейшее? Тогда сердца русских националистов должны воспрянуть и возликовать. Ибо финал романа Ловича говорит нам о крахе советской грандиозной авантюры в самом зените. Красные знамена над русскими армиями сменяются национальными!» Об этом романе было опубликовано несколько откликов и в Советской России. Не вдаваясь в подробности этого произведения, отметим, что книга была переведена на несколько иностранных языков.

В 1936 году в соавторстве с харбинцем Георгием Мурашовым Я. Лович издал в Харбине книгу «Белая Голгофа», посвящённую Белому движению. Рецензент отмечал: «Оба автора – Мурашов опубликовал стихи, а Лович, рассказы – удачно дополнили друг друга. Читателям особенно понравились рассказы “В Страстную Субботу”, “Гимназист Лялька”, “Карета Российской империи”, “Одна слезинка”, “Женщина из ГПУ”. В них отражены путь Белого движения, страдания, которые с таким мужеством были перенесены русскими офицерами, и, наконец, проявленный не раз героизм... Рассказы Ловича имеют одно ценное качество: все они без исключения фабульны и читаются с неослабевающим интересом. Не претендуя на стилистические новшества, автор пишет хорошим простым русским языком, который делает чтение его книги лёгким и неумтомительным».

Особой темой для писателя Ловича были кровавые события в Николаевске-на-Амуре, когда бандиты красного партизана-анархиста Якова Тряпицына уничтожили в 1920 году этот старый дальневосточный город. Этой трагедии был посвящён роман «Враги», который Яков Лович создал на основе расследования, проведённого им во время гражданской войны. Средства на издание дал его земляк – предприниматель А.М. Нетупский. Написанная ярким и сочным языком, эта книга вскоре стала самой популярной в русском зарубежье в Азии. Я.Л. Лович продолжал заниматься темой гражданской войны и стал редактором книги Константина Емельянова «Люди в аду», написав к нему предисловие. «В начале лета 1922 года, – вспоминал Яков Львович, – судьба забросила меня в Николаевск-на-Амуре – вернее на то место, где был этот когда-то цветущий город. Чёрная, страшная равнина, утканная печными трубами, груды кирпича, ржавого кровельного железа, горелыми брёвнами. Кое-где, в разных местах, новые лёгкие фаршированные постройки, возведённые японцами. Остатки русского населения ютятся по разным сараям, баракам и лачужкам. Прошло уже два года после кровавых событий, но печать ужаса и горя осталась у этих людей. Я был на фронтах Великой войны и гражданской бойни, видел много страшного, но о таких ужасах, какие вытерпели эти люди, я никогда не слышал. Мне рассказывали, как партизаны пороли, пытали, расстреливали, жгли, кололи штыками, рубили шашками и топорами, насиловали, грабили, убивали колотушками для глушения рыбы, вспарывали животы, разбивали черепа грудным младенцам. Рассказчики спаслись чудом: один бежал в лес и жил неделю на снегу, другой прожил больше недели под... тротуаром, правильно рассчитав, что никому не придёт мысль искать беглеца в таком месте. Третий, в момент ухода партизан из города и избиения ими всех оставшихся в городе, спрятался в помойную яму. Способы спасения были разнообразны и необыкновенны: когда угрожает смерть, человек становится изобретательным. (...) Я получил от дирекции фирмы командировку в Александровск-на-Сахалине и здесь поселился у Константина Александровича Еме-

льянова, члена Петропавловского окружного суда, в прошлом судебного следователя. Узнав, что он и его жена пережили николаевские события, я начал расспрашивать их. Муж отвечал неохотно, а жена, обычно очень молчаливая, говорила много и с необыкновенным подъёмом. Емельянов, когда мы с ним остались одни, сказал:

– Очень прошу Вас не упоминать о Николаевске при жене. Когда она вспоминает эти события, то...

Тут он выразительно покрутил пальцем около лба. С тех пор мы при жене никогда не упоминали о событиях. Но зато во время прогулок по Александровску вдвоём с Емельяновым, и особенно во время охоты, на которую мы часто ходили, я выслушал полный отчёт о том, что произошло в Николаевске. Узнав, что Емельянов изложил всё это систематически на бумаге, я попросил его разрешение снять копию с записок и переписал их от руки, так как машинки не было».

В тридцатые годы К.А. Емельянов был расстрелян советской властью на северном Сахалине. По поводу этой книги рецензент «Рубежа» Н. Резникова писала: «Записки Емельянова написаны скорее даже сухо и сжато, – чувствуется, что составлял их судебный следователь, каковым и был в России Емельянов, но беспристрастность и добросовестность подкупают читателя и производят сильнейшее впечатление».

Яков Лович написал ещё несколько книг, которые пользовались большой популярностью в русском Китае. Вот несколько откликов. Газета «Шанхайская Заря» отметила издание сборника рассказов «Офицерская шинель» так: «Все эпизоды, выбранные им, не являются художественным вымыслом, а взяты из неизданных и нигде не запечатленных архивов о жестокой борьбе братьев, ставших врагами. Самыми ценными свойствами беллетристических произведений Ловича является их логичность, ясность и простота». Я.Л. Лович написал детективный роман «Дама со стилетом», по поводу которого критика писала: «Интригующая завязка, пёстрое и живое развитие увлекательной фабулы, ярко очерченные типы, элемент неожиданности сцен и положений в качестве лейтмотива, – всё это выдержано в плане, вполне соответствующем требованиям и заданиям каждого произведения такого характера. Чисто шанхайский фон “Дамы со стилетом”, развёртывание действия в знакомых местах придаёт роману особый интерес как для местных читателей, так и для более широкой аудитории, мало знакомой с ярким колоритом нашего города и единственной в своём роде “романтики Шанхая”».

Окончание Второй мировой войны поставило точку на успешной литературной деятельности Ловича. В 1951 году через Тубабао Я.Л. Лович эмигрировал в США. Его жену в благословенную Америку не пустили по причине болезни туберкулёзом, и вскоре она скончалась в Париже. Недолго пережил её и муж. 27 августа 1956 года Яков Львович Лович-Дейч скончался от рака лёгких в больнице Станфордского университета.

О.Г. Гончаренко

Враги

Книга посвящается памяти истерзанных в Благовещенске и Николаевске

Часть первая Необходимо заглянуть в прошлое

Вместо пролога

Иван Данилович, полицейский надзиратель одного из харбинских участков, один из тех русских, кто при всех правлениях в Маньчжурии умудрялся отлично служить в полиции, человек толстый, очень красный и рыхлый, широко, до слез, до боли в скулах, зевнул, потянулся и посмотрел на часы: было без пяти минут одиннадцать. До конца дежурства было далеко, а спать хотелось ужасно; все последние дни и ночи были суматошливые, переполненные всякой мелкой, беспокойной чепухой – кражами, драками, двумя обысками, несколькими незначительными, неинтересными арестами. В общем в городе было спокойно и это не нравилось Ивану Даниловичу: не было случая выдвинуться и показать свою работу.

Иван Данилович снова зевнул и раскрыл было замусоленную, распухшую от грязи, Бог знает как попавшую в участок книжку Юрия Слёзкина «Ветер», когда резко зазвонил телефон. Дежурный полицейский, дремавший около телефона, взял трубку, послушал и протянул её Ивану Даниловичу:

– Вас.

– Я у телефона, – солидным баском сказал Иван Данилович и сразу заулыбался. – А, господин Полунин! Что у вас интересного в газете на завтра?

– Иван Данилович, – услышал надзиратель вместо ответа. – Слушайте внимательно и не удивляйтесь. Я говорю с вами из квартиры бывшего члена правления КВжд Батракова...

– Вы? У Батракова? Секретарь белой газеты у Батракова? – Иван Данилович изумлённо вытаращил водянистые, выцветшие глаза.

– Да. Подождите. Не перебивайте. Я только что застрелил этого Батракова. Немедленно приезжайте сюда. Вы знаете, где? На Маньчжурском проспекте.

– Да вы пьяны? Это, дорогой мой, плохие шутки! Всё-таки, хотя мы, так сказать, и приятели, но я лицо официальное и сейчас при исполнении служебных обязанностей.

– Ну, хорошо, – раздражённо бросила трубка. – Если не верите, посмотрите в телефонной книжке номер Батракова и позвоните сейчас же. Я отвечу вам. Понятно? Трубка замолчала. Иван Данилович крикнул полицейскому:

– Книжка где? Книжка где, дубина? Сколько раз говорил, что она должна быть на полке у телефона.

Полицейский заметался по комнате, нашёл книжку. Иван Данилович лихорадочно стал перебрасывать страницы. Нашёл номер, снял трубку, покрутил диск.

– Иван Данилович? – ответил тот же голос. – Ну, теперь убедились?

– Сейчас приедем, – хрипло, взволнованно сказал надзиратель и бросил трубку.

– Буди пристава и помощника! – крикнул он полицейскому. – Позови Лихарева и Милецкого. Машину надо! Живо! Кажется, этого... советского ухлопали... Батракова.

I.

К буйному, забрызганному, как палач, кровью, пьяному, жестокому, дикому 1918 году вернись из наших дней, читатель.

К тем далёким дням, когда, словно сойдя с ума, заметались по шестой части земной суши миллионы русских людей, кроша, рубя, расстреливая, грабя, насилуя друг друга; когда подвиг был рядом с изменой, величие души – с ее падением, святость – с подлостью, нежность – с садизмом; когда всё перевернулось, закрутилось в кровавом смерче; когда жизнь ничего не стоила, когда топтали её мимоходом, не глядя, равнодушно, словно не жизнь это была человеческая, а гусеница, ползущая через дорогу.

К тем далёким дням, когда с винтовкою в руках бродили мы по просёлочным дорогам, в тайге, в горах, по берегам полноводных рек, по широкому российскому простору – то в роли охотников, в самой увлекательной охоте – за человеком, то в роли дичи, за которой охотятся. Тогда прятались, убегали, видели за каждым кустом притаившегося врага, неожиданную, кровавую, безвестную смерть.

К тем далёким дням, когда входили в побеждённый город то белые, то красные, когда умирающий от страха обыватель таился за тёмными окнами и привычно ждал, что сейчас начнутся расстрелы, что подбираются к нему и обыск идёт уже в соседнем доме; когда валялись по улицам трупы, когда короткие и страшные драмы видел каждый переулок, когда никого уже не трогали жалкие слова о пощаде, робкая мольба жены, слезы матери; когда пристреливали у забора, а потом там же, у трупа, сплёвывали на сторону и недрожащими пальцами удовлетворённо скручивали цигарку, сделав такое нужное, такое простое дело.

К тем далёким дням, когда жадно искали по домам бутылки, или баночки со спиртом, тут же на улице, морщась и довольно крякая, прикладывались к ним и подолгу булькали простуженным в тайге, среди свирепых морозов, горлом. Пили, чтобы спастись от простуды, чтобы спасти своё тело, пили, чтобы спасти душу, одурманить её, чтобы не видела она разбросанных по улице трупов, чтобы не видела она женских, отчаянных слез и забрызганного кровью снега.

К тем далёким, страшным дням вернись, читатель. Здесь, в тумане времени – завязка тех событий, которые описаны в этой книге, завязка тех причин, которые привели ко многим следствиям, завязка тех странных событий, которые тесно перепутали жизнь нескольких людей, свели их вместе через много лет и властно подчинили теням прошлого.

В Амурскую область, в богатый город Благовещенск, приглашу я тебя, читатель.

История будет о некоем маляре Фролове. Впрочем, когда судил его прифронтовой военно-полевой суд властью, данной суду Верховным правителем адмиралом Колчаком, то назвал себя Фролов художником. Председатель суда, подполковник, усмехнулся, но решения суда это не изменило.

В самом конце 1918 года объединённые силы амурских крестьян и вернувшихся с германского фронта сибирских стрелков повели наступление на Благовещенск, главный город области. Вся Россия уже попала в руки большевиков. Один только Благовещенск, в котором была горсть казаков под водительством атамана Гамова, сотня офицеров, мобилизованная интеллигенция, гимназисты и реалисты, гордо решил не сдаваться и жить своей старой, привольной и свободной жизнью.

Этот героизм захлебнулся в крови. Сотни детей-гимназистов, вчера только сидевших на партах за Малинин-Бурениным и латинским экстемпорале, отдали свои юные жизни, навеки закрыв ещё ничего не видевшие на своём коротком веку глаза. Тысячи мирных горожан устлали своими изуродованными телами пыльные и зимою благовещенские улицы. Даже на всероссийском кровавом полотнище страшного 1918 года трагедия Благовещенска рдеет ярким, багряным пятном.

К этим дням вернись, читатель...

В снежный буран шли большевики на Благовещенск. В тёмную ночь приближались к обречённому городу их отряды. Главные силы наступали на вокзал – центр расположения белых, левый фланг двигался на Астрахановку, к архиерейской даче, к казармам Амурской речной флотилии, где уже ждали красные матросы, готовые присоединиться к наступающим.

Среди матросов – красавец-реалист Матисен, сын капитана II ранга Матисена. Большевиком стал красавец-реалист, кричал матросам, что в первую очередь нужно убить его отца, капитана. Словно молния с небес, словно Божий гнев, убила его скоро чёрная оспа за то, что поднял руку на отца.

Разрозненно, бессистемно, без хорошего руководства, без общего плана двигались на Благовещенск толпы вооружённых крестьян и фронтовиков. Зазейские крестьяне – из разных богатых Тамбовок, Толстовок, Ивановок, Краснояровых, Кутиловых – ехали на телегах, с удобствами. На телеги грузили после победы добро, награбленное у горожан. И нередко потом можно было встретить в крестьянской избе граммофон с пластинками из «Фауста», «Травиаты» и «Риголетто», лёгкое кресло в стиле «Ампир», или зеркальное трюмо из дамского будуара.

Угрюмое небо, свистящий ветер – в сторону белых, им в глаза. Слепящие хлопья снега...

По дороге тянутся густые толпы красных. Одеты по разному – в солдатских шинелях без погон, в тулупах, в шубах, в дохах, в ватных рваных пальто. На вооружении, в большинстве, трёхлинейные винтовки. Есть берданки, охотничьи централки, карабины, револьверы. Есть и топоры, вилы и самодельные пики. Лучше вооружённые сведены в роты, под командой старых унтер-офицеров. У ротных, взводных, отделенных – красные повязки на рукавах. Химическим карандашом проставлен номер роты.

Так и двигаются за снежным бураном – благо ветер на город, в глаза белым. Двигаются осторожно, ощупью. Многие помнят фронт, германскую войну, помнят, что впереди – обманчиво, что мгновенно может разорваться снежная пелена огненной линией выстрелов – и тогда каждая пуля найдёт свою жертву.

И вот, где-то вдали, вправо, за снежными вихрями – выстрел, другой... потом долгая свистящая очередь пулемёта. Правофланговые красные части наткнулись на белую заставу. Вдали, очень далеко ещё – огни города.

Итак, начинается...

II.

К командиру красной части энергичными шагами пробирается белокурый гигант, с длинным чубом, с резкими, крупными, красивыми чертами лица, с голубыми, ясными глазами, одетый в охотничью куртку, шапку-ушанку и олени унты.

У гиганта военная выправка, его трёхлинейка в образцовом порядке. Ему, вероятно, не более двадцати пяти лет, он полон сил, строен, ловок, у него энергичный подбородок, могучие руки, крепкие ноги.

Красный командир вопросительно смотрит на белокурого гиганта, шевелит заиндевелым усом.

– Что вам, товарищ Фролов?

– А то, что не годится так, товарищ командир, – резко бросает белокурый. – Этак нас, как куропадок, побьют.

– То есть как это? – надменно гладит усы командир. – Что же вам не нравится? Я, кажется, фронтовик тоже, и георгиевский кавалер.

– Дозоры, дорогуша, надо выслать – вперёд, налево и направо, да и первую роту пора в цепь рассыпать: вон город-то уже на ладони. Сейчас они нас из пулемётов, как следует, покроют. Там, поди, тоже своё дело не хуже нас знают...

– Вы, товарищ Фролов, позвольте вам сказать, не в своё дело суетесь, – уже зло сказал командир. – Революционной дисциплины не понимаете и вообще...

– Товарищи! – вдруг хрипло и громко кричит в снежную вьюгу белокурый гигант. – Товарищи! А ну-ка, сюда!

Со всех сторон к нему собираются солдаты и крестьяне. Окружают командира и Фролова тесной, растерянной толпой. У многих лица бледные, уже заранее позеленевшие в ожидании боя.

– Товарищи! – громко, митингово повторяет Фролов. – Я старый солдат – ещё с империалистической войны. Я пробыл в окопах три года. И вот говорю вам, что товарищ Кукшин ни хрена не понимает в военном деле и ведёт нас всех на смерть от белогвардейской пули. Кто же так командует в бою? Ни охранения, ни дозоров, ни связи с соседями, ни плана. Это когда такая темень вокруг и такой ветер со снегом. Ничего не видно и не слышно. Кто тут старые солдаты? Угрюмов, Кохленко, Мозгалёв! Вы такие дела на фронте когда видели? Эта рыжая дура нас на смерть тащит! Правильно я говорю?

– Правильно! – рявкнуло несколько голосов. – Правильно!

Побледневший красный командир что-то хочет сказать, но Фролов дико и хрипло кричит:

– Такого командира к... Выбрать нового! Правильно?

– Правильно! Фролова! Отставить Кукшина! Тут дело сурьёзное... тут все пострадать можем. Фролова командиром, Фролова!

Так белокурый гигант Фролов, бывший унтер-офицер, представленный Керенским в прапорщики, но из-за октябрьской революции прапорщика не получивший, стал начальником красного полубатальона и повёл свои роты на Благовещенск.

III.

Густыми цепями подходят большевики к городу. Чёрными рядами вдруг показываются они из снежных просторов. Ветер помогает им, ветер и снег слепят глаза защитникам обречённого города.

Красные цепи бегут вперёд и, скашиваемые пулемётным огнём поручика Гани Гурьева и его помощника, прапорщика Полунина, снова ложатся в сугробы снега.

Ганя Гурьев, поблескивая стёклами пенсне, бежит от пулемёта к пулемёту, устраняя задержки, подбадривая свою команду.

– Жарко! – весело говорит он прапорщику Полунину, высокому стройному, совсем ещё юному брюнету – не более двадцати лет.

– Тепло! – отвечает тот, скаля молодые, блестящие зубы, под тёмным пушком усов. – Во фланг бы не зашли... уж очень много их.

– Ничего, там ротмистр Накаяма со своими японцами. Да, сегодня знаешь что вышло? Казачья батарея не разобрала, что это японцы: снег в глаза, да и одеты-то они в штатское – вот и поливнула по ним. Потери у них есть. Ведь, вот не везёт нам. Ну, смотри, смотри, Полунин, вон справа заходят! Дай-ка туда ленту! Живее, живее, перебегают!

Полунин посмотрел туда, куда ему показал Гурьев.

Густая цепь красных решительно шла вперёд, не обращая внимания на винтовочный огонь взвода гимназистов и казаков. Полунин быстро повернул туда пулемёт. Некоторое время окутанный паром и захлёбывающийся пулемёт поднимал снежную пыль роём пуль. Красные

не выдержали, перебежками отскочили назад, оставив позади десятка два трупов. Залегли и открыли бешеный ружейный огонь по пулемётам.

– Не позволяй им вставать! – кричит сквозь ветер и бьющий в глаза снег Гурьев. – Если сразу все поднимутся и бросятся сюда, – нам не сдобровать! Держи их под огнём!

Полунин послушно кивает головой, но в то же мгновение хватается за бок и медленно, кулём, валится сначала на колени, а потом вперёд.

– Шурка, ты что это? – кричит Гурьев и бежит к нему.

– Попало... в бок... – морщится от боли Полунин, облизывая сразу побелевшие губы. – Да ты брось меня... я как-нибудь сам выползу... увезут в госпиталь. Ты пулемёты не бросай. Ох...

Гурьев зовёт санитаря, который кое-как делает перевязку и ведёт Полунина к выходу из вокзала. Полунин, уже у дверей, поворачивается к Гурьеву и слабо кричит:

– Ты за меня не бойся... рана лёгкая. Царапнуло. Досадно вот, что кровь... не могу теперь помочь... Держись, Ганя, не пускай эту сволочь в город... ведь всех порежут... Прощай!

Казаки кладут его в реквизированный у присяжного поверенного Сироты автомобиль, исцарапанный, с залитой кровью раненых серой прекрасной обивкой, и везут в госпиталь вместе с другими ранеными. Скрипя зубами от боли, поблескивая чёрными глазами, прапорщик слушает уходящую в снежную вьюгу, сливающуюся с ветром трескотню перестрелки.

– Господи, не дай им захватить город!... Господи, Господи! – шепчут белые губы. – Перережут всех... Господи, Господи!

Щемящая, острая боль вдруг заставляет юношу закрыть глаза. Теряя сознание, он ещё слышит со стороны вокзала дикий гул сотен голосов: «Ура!»

IV.

Растерянно мечутся по городу вооружённые интеллигенты: близоруко блестя своими пенсне, пыhtят над непокорными затворами винтовок, палят в предрассветное, серое небо. Дома – жёны, дети, привычная, уютная обстановка, письменный стол, книжные этажерки с приложениями к «Ниве», самоварчик на столе. А здесь – пронзительный, смертельный свист пуль, чёрные цепи озверелых людей, рвущихся в город, кровь на снегу, скрюченные в последних страданиях трупы. Не пора ли удирать в Сахалин, благо этот спасительный китайский город близко – всего только через Амур перейти?

А красные уже обтекают Благовещенск со всех сторон. Они уже распространились по берегу реки Зеи, заняли Министерский затон. Товарищи уже пуляют вдоль главных артерий города – вдоль Амурской, Зейской, Большой... Как бы не отрезали...

Вооружённые интеллигенты потихоньку, по одному, бросают винтовки и начинают стягиваться к своим квартирам, чтобы взять семью и кое-что из вещей подороже и – пока не поздно – перемахнуть в Сахалин.

А на вокзале заливаются, захлёбываются пулемёты. Столбом идёт от них пар, словно вспотели они от трудной работы – сеять смерть. В предместьях Благовещенска – в Горбылёвке и Бурхановке – где всё население настроено большевистски, из окон и чердаков постреливают в проходящих белых. Кругом враги – и на фронте, и в тылу.

Дрогнули защитники города...

Только испытанные бойцы ещё не пускают красные цепи на улицы города. Офицеры, казаки и совсем ещё юная молодёжь – гимназисты и реалисты, которые в блаженном неведении улыбаются пулям и не кланяются им.

А впереди, в снежной вьюге, тоже несомненным героем идёт впереди красных цепей товарищ Фролов, бывший унтер-офицер императорской армии. Он не ложится в цепи, стреляет по вокзалу стоя, кроет последними словами свою трусливую, перепуганную шпану, щедро раздаёт

зуботычины и с папироской, прилипшей к губе, скаля ровные, белые зубы, прёт вперёд, на вокзал, откуда свистящим, скрипящим, морозящим душу роем летит навстречу смерть.

У Фролова прострелено ухо, кровь замёрзла на шее и на воротнике оленьей куртки, но белокурый гигант, скрипя унтами по снегу, матерясь и стреляя, идёт вперёд.

Там, на вокзале, у одного из пулемётов задержка: смерть даёт антракт. Фролов поднимает свои цепи – руганью, прикладом, пинками гонит вперёд, пользуясь случайный и выгодный перерыв.

Первые дома предместья... Красные занимают дворы, растекаются по улицам, стреляют из-за заборов.

Последний акт кровавой драмы...

На вокзале – каша из тел. Бьют последних, ещё не ушедших защитников, добивают раненых. Пленных сгоняют в одну из комнат вокзала. Откуда-то появившиеся женщины – взломаченные, страшные, сумасшедшие мегеры – шагают через трупы, через лужи крови, бегут к раненым и пленным, пинают их, бьют, плюют в лицо, изрыгают отвратительные ругательства.

Остатки защитников, кто успел, кто мог выбраться, отходят на берег Амура. Отстреливаясь, прячась за глыбами льда, двигаются к Сахаляну. Туда же отходит и японская гражданская милиция, сформированная из японской колонии Благовещенска ротмистром Накаяма. Здесь, в Сахаляне, – последнее спасение от разъярённых, свирепых от крови и сопротивления красных...

Конец...

Торжествующий рёв победителей по всему городу, смертельный вопль побеждённых – растерянных, мечущихся по улицам в поисках спасения.

Из дома в дом перебегают красные – опьянённые победой, безнаказанностью, стопками водки, кровью. Где-то в центре города застрелили, искололи штыками отца и сына Писаревских, зверски прикончили штыками визжавшего от боли и ужаса сына доктора Илюшу Хоммера, застрелили учителя Захарова, превратили в решето Емельянова. Пробили череп и изуродовали известного всему городу чудака и футуриста Флигельмантова, который дорого отдал свою жизнь, застрелив из винтовки нескольких красных. Убит на улице миллионер Тетюков. Убил жену, дочь и себя поэт Чудаков, оставив записку, что разочарован в русском народе.

На тротуарах, у заборов, на крыльцах домов – трупы, трупы, трупы. Шёл повальный грабёж. Врывались, убивали, отнимали всё ценное, а то, что нельзя было взять с собою сразу, грузили потом на подводы. Били зеркала и посуду, ломали иконы и мебель, рубили шашками дорогие ковры, стреляли в люстры, распарывали штыками диваны, подушки, одеяла, обои.

Где-то шла частая перестрелка: это осаждали дом Иванова.

Прекрасный охотник и стрелок, он мгновенно брал на мушку каждого красного, который пытался подойти к дому, и укладывал его навсегда. Сын Иванова помогал отцу, заряжая винтовки. Уложив полтора десятка красных, оба Ивановы бежали через чужие дворы на окраину города и оттуда перешли по льду в Сахалян. То же самое проделал известный всему городу Яниос.

Такими короткими, героическими, безнадежными схватками был полон этот кровавый день.

Во главе озверелой шпаны ходил из дома в дом и товарищ Фролов. Пристреливал буржуев, выпивал где-нибудь в столовой богатого дома стопку коньяку, вина или водки «Зейские брызги», вытирал рукавом губы, брал на память часики, браслеты, кольца – и шёл в следующий двор.

Где-то на Амурской улице фроловская шпана приколола штыками молоканина, старика-купца с базара. И тут случилось такое, что на все часы этого дня потушило кровавый пыл Фролова.

– Душегубы! Сволочи! Убийцы проклятые! – услышал Фролов истерический женский крик во дворе.

Фролов увидел, что шпана тащит куда-то молоденькую девушку, простоволосую, растрёпанную, с безумными от ужаса глазами.

– Хозяина убили! – кричала она. – За что? Что он вам сделал? Старик он, добрый и душевный человек. За что?

– А ты помолчи! – кричал один из шпаны. – Мы и тебя туда же отправим! Горняшка ты, рабочая, должна с нами идти, а ты буржуев защищаешь. Пулю тебе в лоб надо – вот что!

– Не трошь! – разбросал Фролов шпану. – Не трошь, не то сам пулю в лоб получишь! Рабочую девушку не трошь!

Шпана узнала Фролова, своего ротного командира, который в этот день показал себя бесстрашным. Кто-то, смущённо ухмыляясь, промямлил:

– Да мы, товарищ командир, убивать её и не собирались. По другому делу поволокли. Девка хороша.

– Не для тебя только! – грозно сказал Фролов. – Мы – рабоче-крестьянская власть. Должны без насилий над женским полом.

И, усмехнувшись, добавил:

– Вот если добровольно, – тогда другое дело.

Девушка горько плакала, уткнувшись в рукав кокетливого пальто.

– Ну, барышня, вас больше никто не тронет, – сказал ласково Фролов. – Кохленко, Угрюмов! Оставайтесь в этом доме для охраны. Никого не пускать. Скажите – Фролов не велел. Ну, а за девку вы мне отвечаете. Поняли?

Полные слез, но благодарные чёрные глаза посмотрели на Фролова. Так состоялось его знакомство с Катей, горничной благовещенского купца, заколотого штыками и умершего в снежном сугробе у своего дома.

V.

Замерли последние стоны добиваемых раненых, догорели сожжённые красными буржуйские дома, откуда стреляли с мужеством отчаяния отдельные защитники города, остыли страсти. Убрали трупы с улиц и дворов, засыпали или замыли лужи крови. Всё стало входить в какую-то новую колею.

Во главе совдепа стал Мухин, бывший монтёр, человек, по существу, совсем не плохой, даже добрый и благожелательный. Вероятно, благовещенцы помнят и до сих пор, что этот толстый, грузный человек, с вечной трубкой в зубах, остановил резню и спас многих белых от расправы.

В первый же день, когда захватили красные город, многие из них бросились к госпиталю, где лежали раненые белогвардейцы. Там же находился и Александр Полунин, прапорщик, высокий, стройный черноволосый юноша, который был ранен около пулемёта на вокзале. Легко раненые выскакивали из госпиталя и бежали в Сахалян, через Амур. Их обстреливали с берега и немало их полегло среди нагромождённых в горы льдин. Но большинство были тяжело раненные и бежать не могли. Они лежали или сидели на своих кроватях и с ужасом ждали, что вот-вот ворвутся красные в госпиталь и начнётся кровавая резня. Лежал и Полунин, у которого начался сильный жар и который потерял много крови.

Часа через два после того, как ворвались большевики в город, в офицерскую палату, ковляя на костылях, прибежал с перекошенным от ужаса лицом юнкер и крикнул:

– Идут!... Идут!...

Все заметались по палате. Раненые выхватывали из-под подушек револьверы, готовые оказать последнее сопротивление. Старик капитан Рябинин стоял у иконы и молился, держа в

левой руке наган. Тяжелораненные закрывались с головой одеялом, чтобы не видеть того ужаса, который должен был сейчас начаться. В самом углу палаты бредил и стонал тяжело раненный в живот казак. Все приготовились к неизбежному концу.

Бледная, со слезами на глазах, в палату вошла сестра милосердия, крича хриплым от волнения голосом:

– Не стреляйте!... Не стреляйте!... Это пришла охрана... вас не тронут!...

Сразу за сестрой в палату смело вошёл безоружный, высокий солдат, с красной повязкой на рукаве шинели.

– Граждане – поднял он руку вверх. – Не бойтесь! Никто вас бить не будет. Я пришёл сюда с охранной ротой, по приказу товарища Мухина. Мы никого в госпиталь не пустим. Мы раненых не бьём. Но я должен вас разоружить. Вот как хотите – если верите, то сдайте оружие, потому вы наши враги и оставить вам оружие мы не можем. Мы вас считаем пленными. Если же оружие вы не сдадите, тогда я отниму его силой. Как хотите.

Сестра умоляюще протянула руки к трём-четырем офицерам, которые стояли на коленях, положив револьверы на сгиб левой руки, готовые открыть огонь.

– Сдавайтесь, господа, всё равно ничего сделать нельзя. Товарищ командир красной роты обещал мне защитить вас.

Офицеры переглянулись – бледные, растерянные. Все сразу положили на пустую кровать наганы. Красноармеец крикнул в коридор. Вошли ещё два солдата, собрали оружие. Красный командир оглядел всех и сказал:

– Подчиняйтесь по-прежнему всем правилам госпиталя. Если кто вас обидит, – обращайтесь ко мне, я буду пока жить здесь.

– А что с нами будет дальше? – спросил капитан Рябинин. – Расстреляют?

– Не могу вам сказать, гражданин. Не знаю. Наверно, ваше дело будет разбирать народно-революционная власть.

Красный командир ушёл. В коридоре сидели вооружённые красноармейцы. Несколько постов было выставлено на улице. По отношению к раненым красноармейцы держали себя вполне прилично, хотя смотрели на них мрачными, угрюмыми глазами. Через час после того, как посланный Мухиным отряд занял госпиталь, в здание пыталась ворваться большая банда вооружённых и разъярённых рабочих, но «мухинцы» их не пустили, причём дело дошло даже до взаимных угроз оружием. В течение дня таких попыток было несколько, но каждый раз «мухинцы» отстаивали белогвардейцев от расправы.

Ночь прошла без сна, в тревожных думах о будущем, в ожидании, что вот-вот ворвутся красные и перережут всех. Но всё было спокойно. Заходил командир красной роты, переписал всех по фамилиям, по чинам и роду оружия. На жадные вопросы о том, что ждёт раненых, ничего не отвечал, кроме односложного: «Не знаю».

Пришёл на следующий день, часов в 12, проверил всех по списку. Собрал всех в кружок – всех, кто мог собраться по состоянию своих ранений. Заявил:

– Помилованы вы все. Мухин предлагает тем из вас, кто может передвигаться, уходить через Амур в Сахалян. Не кучей, не толпой, а по одному, постепенно, чтобы не очень заметно было. В Сахаляне ваших много – пусть вас кормят и лечат. А кто тяжело ранен, тот пусть остаётся до излечения. Могут не бояться – никто их не тронет...

Раненые с чувством поблагодарили краскома. Он ухмыльнулся.

– Благодарите Мухина. Это его приказ. А что до меня – так я бы вас всех расстрелял бы. У меня брата казаки расстреляли на вокзале. Гады!

Он твердо и крепко повернулся на каблуках и вышел из палаты.

В тот день большинство легкораненых перешли в Сахалян. Туда же перебрался и Александр Полунин. У прапорщика был жар, и чувствовал он себя ужасно, но оставаться не захотел. Полторы версты до Сахаляна шёл по ледяной дороге через Амур почти три часа.

VI.

Белокурый гигант, с длинным чубом, с голубыми, ясными глазами, в охотничьей куртке и оленьих унтах, с винтовкой на ремне, спокойно и самоуверенно переступил порог совдепа – в доме военного губернатора – и бросил первой попавшейся машинистке (совдеп уже шумел двумя десятками каких-то развязных девиц, которые делали вид, что что-то делают):

– Скажите товарищу Мухину, что пришёл командир Фролов.

Девушка кокетливо заглянула в голубые глаза гиганта, вильнула задом и поплыла куда-то по коридору, покачивая бёдрами. Вернулась через минуту и спросила:

– Товарищ Мухин спрашивает, кто вы такой будете?

– Я же сказал – командир Фролов.

– Товарищ Мухин вас не знает.

– Не знает? – грозно нахмурил брови Фролов. – Так он узнает!

Гигант отстранил девушку без особой церемонии и крупными шагами пошёл по коридору. Распахнул дверь с надписью на картоне: «Председатель совета». Вошёл в комнату. За большим письменным столом сидел толстый, грузный человек, бритый, с трубкой в зубах, с пронзительными, умными глазами.

– Извиняюсь, товарищ Мухин, – подошёл к столу Фролов. – Я без всяких правил к вам. Мне некогда. Барышня тут не пускала – говорит, что вы меня не знаете. Я – Фролов, который вокзал брал. Как имею я революционные заслуги, то полагаю, что должен быть вам известен.

– Нет, не слышал, – спокойно сказал Мухин, не вынимая трубки изо рта. – Вокзал многие брали. Заслуг тут особенных нет – это был долг каждого красноармейца. Что вам, собственно, надо?

– Хочу какое-нибудь место получить. Двумя ротами командовал, которые в вокзал первыми вошли. Самый главный удар по белым гадам нанёс.

– Ах, вот что! – с некоторым интересом посмотрел на него Мухин. – Теперь вспомнил – мне про вас говорили. И про геройство ваше, и про то, что потом вы чуть не всю Амурскую улицу разграбили и многих побили. Виноватых, а больше невиновных.

– Невиновных? – Фролов изумлённо расширил ясные, голубые глаза. – Как так невиновных? Все ведь это буржуи!

– Буржуи нам тоже нужны. Спорить я с вами на эту тему не буду. А вот скажите лучше – что вам, собственно, от меня нужно?

– Как вы председатель совдепа, то должны мне работу, то есть службу, дать. Как революционному герою. Все товарищи подтвердят, что я вокзал брал. Комиссаром хочу быть.

Мухин вынул трубку изо рта.

– Вот что, товарищ Фролов, – спокойно и тихо сказал он. – Теперь я вспомнил, что действительно взяли вокзал вы. Но потом вы грабили и убивали. Этим вы опозорили советскую власть. Я уже несколько человек отдал под суд за грабежи и убийства. Вам я прощаю – за ваши подвиги во время взятия вокзала. Но никакого места я вам не дам и никаким комиссаром вы не будете. Мне грабителей не надо. Война кончилась, и нужно строить новую жизнь. Мне нужны люди интеллигентные. Поэтому идите отсюда по добру, по здорову, пока я не передумал.

Гневные, но и растерянные голубые глаза упёрлись в спокойное, бритое лицо Мухина. Каменный подбородок и прищуренные, немигающие глаза подсказали Фролову, что нашла коса на камень. Не прощаясь, он повернулся и вышел из комнаты.

VII.

Сначала Фролов не тужил: на весёлую, разудалую жизнь с избытком хватало награбленного в дни захвата города. Фролов продавал китайцам часы, браслеты, золото и другие вещи. Может быть, жил и жил бы товарищ Фролов припеваючи, жил бы спокойно впоследствии и при белых, ибо немногие знали и помнили его роль при взятии города. Но властно вошла в его жизнь первая любовь, закрутила, закружила его буйную, белокурую голову.

Недолго помнила хорошенькая Катя о кровавой расправе с ее хозяином. Всё заслонил образ белокурого гиганта-спасителя и атамана шайки головорезов. Фролов пленил немудрёную девичью душу. Но была девушка хитра, материалистична и немало романов прочитала на своём коротком веку. А потому и потребовала от своего поклонника, чтобы всё было, как в хороших романах – подарки, цветы, красивые слова, романтические свидания...

Сумела околдовать она Фролова, растаял белокурый гигант, никогда ещё не испытывал он такого чувства. Золотым потоком засыпал он черноглазую Катю: всё те же кулоны, кольца, брошки, золотые монеты, дамские часики. Не думала, закрывала глаза Катя, что на многих из этих вещей стояли чужие инициалы и торжественные надписи. Не так уж было это важно – важнее была любовь Фролова и материальная ценность его подарков. Быстро прибрала она к своим рукам всё, что награбил Фролов в дни захвата города, и требовала ещё и ещё, так как нашлись у нее многочисленные родственники, которым нужно было делать подарки.

Перед Фроловым вдруг встала трагическая дилемма: или потерять Катю, или найти новый источник, из которого он мог бы черпать едва ли не ежедневные подарки. Говорил он Кате, что большую роль играет в совдепе, что правая он рука Мухина, так что положение обязывало. Что же было делать? Набрать шайку и снова пройти по городу, заходя в каждый дом и беря всё, что понравится? Это было невозможно теперь: разбой кончился, в городе был хоть и советский, но всё же порядок.

Тогда он решился на неприкрытое никакими лозунгами преступление.

На Графской улице была большая китайская лавка, куда он в первые дни после занятия города продал много награбленных вещей. Теперь он решил вернуть эти вещи, да ещё прихватить деньги лавочника. Он был готов и на убийство, если бы оно понадобилось.

Фролов положил в карман револьвер, надел маскарадную чёрную маску и вечером вошёл в лавку. Коротко и скупно он изложил лавочнику своё неотложное дело. Китаец затрясся, увидя револьвер, и стал извлекать из разных уголков ценные вещи и деньги. Фролов всё это спокойно стал раскладывать по карманам.

И в эту минуту, на своё несчастье, в лавку вошёл какой-то русский обыватель. Увидя человека в маске, он попытался было юркнуть обратно, но фроловская пуля пробила ему живот, и обывателю пришлось остаться в лавке. Лавочник бросился к двери во внутренние комнаты, но упал с пробитым черепом.

Фролов выскочил из лавки, швырнул маску и револьвер через ближайший забор и побежал по улице.

Но тревога была уже поднята. Хотя и было темно, кто-то заметил, что выскочил из лавки высокий человек с белокурыми кудрями. Милиционеры догнали Фролова, обыскали, нашли деньги и разные ценные вещи. Фролов надменно улыбался, был спокоен и говорил:

– Дорогуши, товарищи мои, верно, что не мои это вещи. Только взял я их у буржуев, когда брали мы Благовещенск. Советская власть ничего мне за это сделать не может. А что вы про лавочника говорите, так я тут ни сном, ни духом не участвовал. Я – начальник народно-революционного отряда, а не грабитель какой.

Тем не менее на следующий день Фролова вели уже из милиции в советскую тюрьму.

В первые дни пребывания там Фролов по-прежнему надменно улыбался и держался свысока. Потом, после первых допросов и очной ставки с теми, кто видел его бегущим из лавки, спокойствие его исчезло. Он понял ясно, что дело его серьёзное. По советским кодексам, убийство и грабёж карались в то время очень сурово. Конечно, в кодексе ничего не говорилось о тех убийствах и грабежах, которыми сопровождалось занятие города: это была месть пролетариата и «конфискация» имущества буржуев.

Свидетельские показания и ряд серьёзных данных говорили против Фролова. Он подумал-подумал – и написал прошение председателю совдепа:

«Дорогой товарищ Мухин.

Что же это творится в городе Благовещенске, который находится сейчас под советской народной властью? А во главе этой власти Вы, товарищ Мухин. Меня, который есть начальник народно-революционной воинской части, забирают на улице, сажают в тюрьму и обвиняют в том, что я есть грабитель и убийца. Я так полагаю, товарищ Мухин, что в Вашей милиции есть ещё контрреволюционные элементы, которые ведут тайную борьбу против советской власти и хотят погубить верного борца за народную власть. Прошу строго проверить всё это ложное дело, товарищ Мухин.

Есть много свидетелей, которые могут удостоверить, что я наступал на город Благовещенск с доблестными народно-революционными войсками. Я командовал двумя ротами, брал вокзал и вёл себя героически. В конце этого письма, дорогой товарищ Мухин, я прикладываю список товарищей, которые могут показать, что я говорю истинную правду. Они могут рассказать, что много народных врагов и буржуев я застрелил и заколол, когда взяли мы город Благовещенск. Не меньше, как два десятка офицера, буржуев и разных других белых я отправил в штаб Духонина.

По нашему разработанному боевому плану мы ходили из дома в дом и били всех подозрительных врагов советской власти. В буржуйских домах брали мы, правда, золотые и другие вещи, награбленные буржуазией. Почему это? Потому, товарищ Мухин, что помнили мы великий завет товарища Ленина: “Грабь награбленное!” А завет этот был напечатан в фронтовой газете “Окопная правда” и читал я его, когда ещё был на рижском фронте в 1917 году. Действовали мы, значит, по полному нашему народному праву, и никто ничего нам об этом не может сказать.

И вот – что же мы видим, дорогой товарищ Мухин? Две недели тому назад меня берут на улице, находят взятые мною на память разные буржуйские вещицы и обвиняют в грабеже китайской лавки и в убийстве. Я прошу Вас, дорогой товарищ Мухин, разобраться в этой несправедливой клевете и освободить меня, как я есть истинный и преданный слуга советской власти, поборник пролетариата и сделал для него очень много, когда брали мы город Благовещенск. Я не жалел своей жизни и здоровья в бою и был беспощаден к врагам советского режима. На вокзале я уложил четырёх белых гадов, да ещё по городу человек пятнадцать. А потому прошу, дорогой товарищ Мухин, справедливо разобрать моё дело и освободить меня.

С товарищеским приветом Михаил Фролов».

По целому ряду причин дело Фролова затянулось. Его письмо было приобщено к многочисленным протоколам опросов и очных ставок. Всё производство было передано советскому судебному следователю, бывшему сторожу Благовещенского окружного суда, который, утонув в море всяких судебных бумажек, счёл за благо не торопиться и держал в тюрьме тысячи полторы народа, из которых не менее половины сидели ни за что даже с точки зрения советской власти. Это были, главным образом, арестованные по доносам. Но были и политические – офицеры, чиновники, представители буржуазии. Было много и уголовных – среди них товарищ Михаил Фролов.

VIII.

– Ну, что, Шурка, щемит душу?

Полунин оборачивается. Позади стоит один из офицеров Амурского отряда со странной фамилией Чебак. Он кивает через реку, в сторону Благовещенска.

– Да... тоска. Хоть бы скорей перебраться через Амур, – отвечает прапорщик. – Осторожно здесь, в Сахалине. И вот, ведь, близко, рукой подать, только через реку, а нельзя туда. Черт!

Чебак садится прямо на землю, рядом с Полуниним. Оба некоторое время молча смотрят на ту сторону реки – на советскую сторону. Там какое-то оживление. На берегу много народа. Снуют лодки около пароходов. Идёт погрузка на баржи, пароходы под парами.

– Собираются удирать, – прерывает молчание Полунин. – Плохо дело у товарищей. Слышал – чехи гонят их на всех фронтах.

Был сентябрь 1918 года. Вся Сибирь, всё Приморье были уже в руках восставших чехов. От Хабаровска на Благовещенск наступали японские войска. На Забайкалье двигался атаман Семёнов. В Сахалине – китайском городе напротив Благовещенска – был расположен Амурский отряд, составленный из отступивших с русской территории в Китай отрядов офицеров, белых солдат, казаков и всех тех, кто не хотел примириться с советской властью. Этот Амурский отряд ждал только приказа, чтобы перейти через Амур и взять свой родной город. Грозное положение, создавшееся на всех фронтах, заставило большевиков готовиться к отступлению из Благовещенска в амурскую тайгу, в сопки, в верховья реки Зеи, на Селемджу. Из Благовещенска увозили по Зее на пароходах орудия, пулемёты, лошадей, автомобили, провиант, одежду. В городе царил паника – и среди красноармейцев, боявшихся расплаты за февральскую резню, и среди обывателей, которые ждали, что перед своим уходом красные устроят «Варфоломеевскую ночь» – перебьют остатки буржуазии и сожгут город. Может быть, оно так и было бы, если бы события не пошли ускоренным темпом.

В тот день, когда сидели на берегу Амура и смотрели на ту сторону Полунин и Чебак, в Сахалин прибыл из Цицикара японский кавалерийский отряд. Отряд имел особые полномочия. В Сахалине началась суэта: Амурский отряд готовился к бою. В ночь на 18 сентября 1918 года Амурский отряд и японцы переправились через реку и захватили Благовещенск. Красные отдали город почти без сопротивления, разбежавшись, кто куда мог.

Опасаясь, что красные перед своим уходом могут перебить сидевших в тюрьме политических заключённых и выпустить на свободу уголовных, отряд белых добровольцев, главным образом, из кавказцев, ночью, ещё до прихода Амурского отряда, захватил тюрьму.

Вот каким образом товарищ Михаил Фролов автоматически, вместе с тюрьмой, попал в руки белых.

IX.

Поручик Наконов, человек с высшим юридическим образованием, заведующий военно-судной частью штаба, поблескивая пенсне, говорил офицеру для поручений при той же военно-судной части, прапорщику Полунину:

– Вы неопытны, Полунин, но вы интеллигентны – почему мы и взяли вас из строя в военно-судную часть. Кроме того, я знаю, что вы недурно пишете – это также важно для военного следователя, каковым мы хотим вас сделать. Итак, слушайте меня. Главное – это беспристрастие. Помните об этом. О зверствах белых много глупых разговоров. Конечно, отдельные случаи были. Вот поэтому мы и отбираем для занятия следовательских постов пусть неопытных, но приличных и порядочных людей. Помните, что мы – представители закона и только в

этих рамках должны действовать. Доказано – получай своё, не доказано – освободить. Тюрьма переполнена. Я уже имел случай убедиться, что там сидят и ни в чём неповинные люди. Ряд дел мы захватили в целостности и сохранности у советских судебных следователей. Нужно эти бумаги внимательно изучить. Кое-что я просмотрел. Конечно, в большинстве, это образец безграмотности и юридической беспомощности. Но нам приходится руководиться этими бумагами, так как всё же это какая-то видимость следствия. Осторожность, прежде всего, потому что здесь есть и доносы и сведение личных счётов. Но, в общем, это почти всё уголовщина, а уголовных Мухин не особенно жаловал – по крайней мере тех, которые что-либо совершили в период его правления. Нет, конечно, оснований шадить их и нам. Итак, для первого серьёзного опыта – вот вам, прапорщик, пачка уголовных дел, оставшихся нам в наследство после большевиков. Просмотрите их дома и разберитесь. Через два дня я жду от вас подробного доклада...

Дело Фролова – объёмистая папка страниц в сто – сначала не обратило внимание прапорщика Полунина, неожиданно, по приказу начальника гарнизона, ставшего военным судебным следователем: за недостатком квалифицированных военных юристов, судебными следователями назначали юных офицеров, бывших студентов-юристов. Полунин невнимательно просмотрел дело Фролова. Случай показался банальным – вооружённый грабёж и убийство. Всё казалось чрезвычайно простым, и предварительное следствие большевиками было проведено довольно полно. Были протоколы медицинского осмотра убитого и раненого, были допросы свидетелей, милиционеров, самого Фролова, была подробная опись найденных у него при аресте ценных вещей, протоколы очных ставок Фролова с раненым им в лавке обывателем, который признал в Фролове именно того человека, который стрелял. Хотя Фролов и был в маске, но потерпевший узнал его по высокому росту, белокурым кудрям и по голосу. Одним словом, всё было ясно и требовало только проверки и кое-каких деталей.

Прапорщик Полунин, не просмотрев дела до конца и не заинтересовавшись им, занялся другими папками. И только дня через два, снова рассеянно перелистывая дело Фролова, Полунин наткнулся в самом конце папки на бумажку, которая заставила его привскочить на стуле. Перед офицером был лист бумаги, исписанный твёрдым, крупным, канцелярским почерком. Начинался лист обращением: «Дорогой товарищ Мухин». Это было то самое письмо, которое Фролов написал Мухину из тюрьмы.

Прапорщик Полунин внимательно прочитал послание – раз, другой, третий и даже присвистнул от такого оборота дела. Потом взял красный карандаш и подчеркнул несколько фраз в письме Фролова.

Бегло просмотрев ещё раз всё дело, засунув его в свой объёмистый портфель, Полунин оделся, вышел на улицу, взял извозчика и велел везти себя в тюрьму.

Х.

В комнату, отведённую тюремным начальством для судебного следователя, ввели высокого, широкоплечего человека, с красивым лицом и ясными, голубыми глазами. Он был острижен, одет в арестантскую одежду. На руках кандалы.

Прапорщик Полунин, сидя за столом, с интересом смотрел на арестанта. В свою очередь, гигант остро и прямо, не опуская глаз, смотрел на офицера.

– Фролов Михаил? – спросил Полунин.

– Так точно, – вытянулся по-военному Фролов.

– Конвойные, можете идти.

Стуча винтовками, солдаты вышли.

– Садись, Фролов.

– Могу и постоять.

Полунин ещё раз внимательно посмотрел на него.

– Мне поручено разобраться в твоём деле. Прежде всего, почему ты в кандалах?

Фролов улыбнулся.

– Да такое дело тут вышло в тюрьме, господин прапорщик. Поругался я тут малость с арестантом одним и ударил его мешочком с сахаром кусковым. Так и сахару там было немного – фунт, что ли. Ну, а он, арестант-то, чуть и не помер. Потому и кандалы одели.

– Ах, вот оно что. А теперь скажи мне, за что тебя советская власть посадила в тюрьму?

– Так что, господин прапорщик, обвинили меня в убийстве и грабеже – в уголовщине, значит. Вот и посадили. Да вы разве не знаете? В тюремной книге всё это обозначено.

– Знать-то знаю, да, видишь ли, не всё для нас ясно. Дело твоё, следствие, дошло до нас от большевиков не в полном виде. Часть куда-то исчезла. Так что нам надо многое восстанавливать.

Какая-то судорога исказила красивое лицо Фролова – надежда, радость, торжество?

– Ах, так! Значит, долго ещё сидеть мне? Я надеялся, что новая власть, как она власть интеллигентная, а не бродяжки, да не воры, скорее разберётся в моём деле. Не убивал я, господин прапорщик. Всё это ложь и выдумки советской власти – как не разделял я большевистских убеждений. Ни за что человека посадили.

– А ты как же к советской власти относишься?

– Да будь она проклята! Что она народу дала? Бандиты они все и разбойники, да воры. Бить их надо всех до одного.

– А белым будешь служить?

– С моим удовольствием, господин прапорщик. Как я унтер-офицер Императорской армии... Как же не служить?

– Значит, в убийстве и грабеже себя виновным не признаёшь?

– Никак нет! Как можно! – с жаром воскликнул Фролов. – Ни сном, ни духом!

– Ну, хорошо. Вот тебе перо и чернила, садись за стол и пиши прошение – пиши, что я тебе продиктую. Спокойно пиши, не торопись.

Фролов сел за стол, поправил кандалы так, чтобы можно было писать, и взял перо. Полуинин задумался, потом медленно начал диктовать:

– Я... такой-то... назови себя полностью... обвиняюсь в убийстве китайца-лавочника, в ограблении лавки и ранении случайно зашедшего в лавку такого-то. Написал? Хорошо. Я был арестован советской властью такого-то числа и посажен в тюрьму без всяких к тому оснований. Виновным себя не признаю и прошу меня освободить. Написал? Подпишись.

Фролов подписался и передал бумагу прапорщику. Тот позвонил. Вошли конвойные.

– Можете увести арестанта.

Фролов встал, вытянулся по-военному, вместо поклона, и пошёл к двери. Замедлил шаги, о чём-то думая, повернулся к Полунину. Какая-то борьба отразилась на лице гиганта. Офицер внимательно смотрел на него, зная, чувствуя, что он спросит.

– Господин прапорщик... можно мне один вопросик?

– Говори.

– Тут... когда я сидел в тюрьме при советской власти, я разные прошения подавал... чтобы, значит, моё дело ускорили. Так как... эти прошения есть в деле?

Полуинин с трудом выдержал острый, настороженный, пронизывающий взгляд ставших стальными голубых глаз.

– Никаких ваших прошений в деле нет. Кому вы подавали прошения?

– Следователю ихнему и ихнему председателю совдепа.

– Мухину? Он все свои бумаги перед бегством сжёг. Это нам точно известно.

Едва сдержанный вздох облегчения. Неуклюжий, штатский поклон.

– Покорно благодарю, господин прапорщик! Счастливо оставаться.

Полунин остался один. Он вынул из портфеля дело Фролова, нашёл его прошение Мухину и сравнил почерк с только что написанным рукою Фролова. Сомнений не было: обе бумаги были написаны одной и той же рукой.

XI.

Через две недели следствие по делу Фролова было закончено. Прапорщик Полунин разыскал почти всех свидетелей убийства и грабежа, опросил их снова и установил, что советское дознание было произведено вполне удовлетворительно. Прифронтовым военно-полевым судом, которому были подсудны тогда все дела об убийствах и грабежах, Фролов был приговорён к смертной казни через расстреляние.

Он принял приговор спокойно, не просил о пощаде и равнодушно подписал прошение о помиловании, которое составил ему защитник – офицер, назначенный от суда.

– К чему это? – хмуро усмехнулся Фролов. – Всё равно угробят. Видно, раскопали про меня, сволочи...

Гремя кандалами, в сопровождении усиленного конвоя, гигант зашагал среди густой толпы любопытных к выходу из суда. На улице также стоял народ.

И вот здесь, когда Фролов вышел на высокое крыльцо, в толпе раздался истерический женский крик:

– Мишенька! Мишенька мой!

Сквозь цепь солдат прорвалась вперёд, к Фролову, девушка с чёрными, полными слез глазами. Это была горничная Катя – первый «настоящий» роман Фролова.

– Родненький мой! – кричала она. – Вот как свидеться-то пришлось! Из-за меня пропал ты, из-за меня! Погубила я тебя своей жадностью, знаю теперь, всё узнала! Не увидать мне тебя больше!

Солдаты растерянно тащили девушку от Фролова. Вокруг него снова замкнулся круг. Прихрамывая и оглядываясь, гремя цепями, пошёл по улице Фролов. Оглядываясь на Катю, которая горько рыдала, упав на крыльцо, окружённая любопытными.

Прихрамывая и вяло шёл Фролов нарочно, дурака валял. Остро, по-волчьи, поглядывал на конвойных. Видел, что мальчишки они, или солдаты из интеллигентов – в пенсне и неловкие. Нужно было только место удобное – дворы какие-нибудь проходные, заборы, штабели дров. Кандалы снять было пустяком: нашёлся добрый человек, будто бы белый, надзирателем в тюрьме нарочно стал. А был из роты Фролова – ловкач и человек преданный. Одели Фролову кандалы спиленные, всё подстроил друг верный.

Когда поравнялись с казармами на Суворовской улице, рванул Фролов кандалы, ударил обрывком одного конвойного по голове, толкнул другого, у третьего выбил винтовку и одним махом перепрыгнул через забор. Только и видели его в наступившей темноте. Постреляли по пустырю, потом оцепили со всех сторон – но ни живого, ни мёртвого Фролова не нашли. Сгинул.

XII.

– Что нового с Уральского фронта? – спросил Полунина его отец, бравый ещё старик, с копной седых волос.

– Плохо, папа. Наши армии отходят. Наметился прорыв. Генерал Каппель прикрывает отход со своими ижевцами и воткинцами. Это частные сведения: приехал один раненый офицер, рассказывал. Официально многое скрывается.

– Да, да, скрывается очень многое, – сказал третий собеседник – маленький, круглый человек, с бородкой клинышком и в пенсне. – Скрываются все те безобразия, которые творят

ваши белые – и там, на фронте, и здесь, в глубоком тылу. Удивительно ли, что вас бьют, если вы порете крестьян, если ваши солдаты бесчинствуют, расстреливают, грабят...

– Ну, поехал наш эсер, сел на своего социалистического конька! – невесело улыбнулся Полунин. – То-то вы, эсеры, смогли бороться с большевиками. Бросьте, Николай Иванович!

– Боролись, боремся и будем бороться! – вскипел человек в пенсне. – Только не теми методами, которыми боретесь вы. Омск всё время взывает о помощи, бьёт себя в грудь и обещает населению демократический рай. А что на деле? Как же пойдёт крестьянин с вами, если его секут разные ваши карательные отряды? Вы обвиняете партизан в жестокости. Но разве эта жестокость, да и сами партизаны – не порождение всей вашей системы, с помощью которой вы не правите, а только восстанавливаете против себя население? Будьте справедливы, Саша, разве это не так?

– Конечно, во многом вы правы, – задумчиво ответил Полунин. – Но вся беда в том, что это – гражданская война, когда ненависть и ожесточение достигли крайних пределов, когда кровь, месть, взаимная жестокость застилают глаза и мешают видеть правильно. Это, конечно, не оправдание, но объяснение. Вы думаете, что Верховный правитель не видит всего этого? Как раз раненый офицер, о котором я только что говорил, рассказывал сегодня, как страдает адмирал от всех творящихся безобразий. Кричит на своих министров, отдаёт безобразников, которые губят белое дело, под суд. Но сегодня отдали под суд, а завтра пущены в ход связи, протекции, даже деньги – и безобразник снова на свободе. Бедный адмирал бессилён. Поверьте, что он мученик, святой мученик. Кровью обливается сердце, когда думаешь, что этот прекрасный человек, верный сын своей родины, может стать жертвой за чужие грехи. Вероятно, он был бы счастлив, если бы снова мог стать только моряком, смог снова вести к победам свои суда под Андреевским флагом. Навязанная ему роль Верховного правителя – это терновый венец. Так говорят все, кто приезжает из Омска.

Разговор шёл в большом саду, в беседке, за самоваром. Отец Полунина имел на одной из окраинных улиц Благовещенска, недалеко от Зеи, большой участок – целое имение, с барским домом, двумя садами, службами, амбарами, большим огородом. Беседа шла почти через год после занятия Благовещенска Амурским отрядом и японскими войсками.

Полунины разговаривали с Николаем Ивановичем Синцовым – учителем из Николаевска. Он имел большую семью, дом и рыбалки. Пользуясь летними ваканциями, он привёз рыбу в Благовещенск, продал её и теперь собирался домой.

– Вот вам пример, – продолжал Полунин. – Пример того, что такое гражданская война. Весной этого года, во время большого восстания в Амурской области, приходит наш отряд в Михайловку – знаете, за Зеей? Деревня богатая, старосёлы, буржуи настоящие. В нашем отряде были братья Усовы, прапорщики. Ехали они и страшно волновались за судьбу отца и третьего брата, живших в Михайловке. Отец – зажиточный крестьянин, сын – деревенский учитель, бывший офицером во время Великой войны. Только приехали мы в деревню, наши Усовы бросились домой, к отцу. Встречают их слезы, крики, истерика матери, сестёр, невестки. Вместо объяснений повели прапорщиков Усовых во двор, в сарай. Мы все также пошли туда. До сих пор помню этот ужас – и никогда его не забуду. На полу лежали три тела. Старик отец, убитый выстрелом из винтовки в голову. Два трупа – сына-учителя и сельского священника – вернее, то что от них осталось после того, как их сожгли живыми на костре. Оказывается, крестьяне давно предупреждали двоих Усовых – отца и сына, а также священника, что им грозит опасность от партизан, которыми кишат окрестности. Но ни Усовы, ни священник не вняли угворам. Пришёл партизанский отряд. Схватили Усовых, схватили священника, ещё несколько человек – деревенских буржуев. Старика Усова застрелили на глазах его жены и дочерей. Священника и учителя Усова долго били, уродовали, вывезли за околицу деревни и здесь сожгли на костре. Я видел трупы: сожжённая, полопавшаяся кожа, скрюченные пальцы, порванные сухожилия, торчащие, обуглившиеся кости. Что должны были вынести эти люди, пока смерть

не прекратила их мучений? Я смотрел на лица своих товарищей, окруживших плотной толпой трупы несчастных. Одни и те же чувства были в глазах у всех: страдание, ужас, гнев и... ненависть, жажда мщения. Я смотрел на двух братьев Усовых. Они стояли рядом и, взявшись за руки, молча, не отрываясь, смотрели на останки отца и брата. О чём думали Усовы? Конечно, это была немая клятва – мстить до конца, до последнего дыхания, мстить всегда и везде. И они мстят, славятся сейчас своей жестокостью. Ужасно – скажете вы. Да, ужасно. Но это гражданская война. Я не оправдываю зверств, но мне трудно кого-либо и обвинять. А вспомните несчастного прапорщика Добротворского и 27 его казаков, пойманных партизанами на реке Селемдже, около Сохатино. Дело было в январе, при сорокаградусном морозе. Казаков раздели догола, вывели на мороз, привязали к столбам изгороди и обливали водой до тех пор, пока они не превратились в ледяные статуи. Добротворского мучили другими способами: забивали граммофонные иголки в пятки, вырывали ногти, ломали пальцы и, в конце концов, утопили в проруби. Какие чувства питают теперь к большевикам родные и товарищи этих несчастных людей? Как вы думаете?

Полунин замолчал, подавленный воспоминаниями. Некоторое время все трое сосредоточенно и угрюмо курили или помешивали ложечками чай. Первым заговорил отец Полунина:

– Вот что будет теперь, если разобьют белых?

– Что будет? – ответил Полунин. – Опять расстрелы, грабежи. Чего же можно ждать от грабителей и убийц? Или, быть может, вы эсеры, научите большевиков уму-разуму?

– Трудненько будет, – сказал человек в пенсне. – И вы, колчаковцы, испортили дело, да и народ словно с ума сошёл, озверел.

– Ничего вы не сделаете. Вслед за нами в Сахалян удерёте, как уже раз удирали.

– Я думаю, большевики теперь умнее будут, – выпустил клуб дыма Николай Иванович. – Без интеллигенции им не обойтись.

– Нужна им ваша интеллигенция! Нет, дорогой, если, не дай Бог, побьют нас красные, – бежать надо за границу.

– Куда же это? – насмешливо процедил Николай Иванович.

– Куда? В Сахалян, потом в Харбин, а там – куда судьба бросит. Мир велик, как-нибудь проживём. Но признать себя побеждённым я не хочу. Буду и там бороться, буду разъяснять иностранцам, что такое большевизм, какая это страшная зараза и что грозит миру, если он не поймёт этого. А скорее всего, дождёмся того момента, когда русский народ сам изживёт эту болезнь. Может быть, недолго-то и придётся быть за границей. Впрочем, мы рано заговорили о бегстве. Наши армии ещё дерутся, а здесь, на востоке, нас, белых, поддерживает Япония.

– Вы думаете, что так она вас и будет вечно поддерживать? – снова иронически пробурчал Николай Иванович.

– Почему бы и нет? – ответил Полунин. – Это единственная страна, которая действительно помогает нам сейчас против большевиков, которая, по-видимому, понимает весь ужас коммунизма. Как бы ни сложилась мировая и дальневосточная обстановка, я думаю, что Япония всегда будет против большевиков. Не могут эти два мира – Япония и большевизм – ужиться рядом. В этом – залог нашей победы в будущем, если даже мы будем побиты теперь.

– Ну, проживём – увидим, – неопределённо сказал Николай Иванович.

– Что касается меня, – вмешался отец Полунина, – то я никуда не побегу. Вы, молодые, что-то сможете сделать за границей – учиться, работать, устроить свою жизнь, бороться с коммунизмом. А я – старик. Буду доживать свой век здесь, в Благовещенске, что бы ни случилось. Ну, а убьют – тоже не страшно: пожил, будя. Я из России не уеду.

– Об этом мы ещё поговорим, – буркнул Полунин; это была больная тема. – Пока ещё рано. Может, даст Бог, оправятся наши армии и разобьют красных.

– Да, Саша, чуть не забыл, – сказал отец Полунина. – Я всё хочу тебя спросить. Ты рассказывал, что убежал у вас по дороге в тюрьму приговорённый к расстрелу...

– А, Фролов?

– Да, да. Так не поймали его? Ты тогда рассказал этот случай и я всё не могу его забыть. Уж очень интересная история. Многих из тех, кого он убил, я знал...

– Увы, так и не поймали. Бравый парень. Прозевали наши конвойные. Одного он серьёзно ранил в голову обрывком кандалов. Кандалы были перепилены, всё было подстроено надзирателем, который, конечно, тоже скрылся. Говорят, что сподвижник Фролова. А про Фролова есть слух, что убежал он в область, составил большой отряд и партизанит с ним, обстреливает пароходы на Амуре. Есть сведения, что трагедия на Бурее – дело рук Фролова. Вы знаете эту историю? Вниз по Бурее шёл пароход с баржей: в Благовещенск возвращалась 1-я рота 35-го Сибирского стрелкового полка. В узком месте реки, где течение особенно быстро и пароходу трудно маневрировать, Фролов устроил засаду. Пароход и баржа были жестоко обстреляны большим отрядом партизан с обоих берегов. Погибли прапорщики Геккель и Ланкин, а также много солдат. Туда была отправлена карательная экспедиция, но Фролов увёл свой отряд куда-то вниз по Амуру, к Хабаровску. Отчаянный парень.

– Да, держали коршуна в руках, да проворонили, – улыбнулся Николай Иванович.

ХIII.

Серебряный меч луны рассекает могучую реку. Здесь, ниже Хабаровска, Амур очень широк. Скалистый, угрюмый левый берег нависает над рекой. Правый берег, низкий, покрытый болотами и озёрами, заросший травой, тянется на бесконечное пространство, исчезает за горизонтом. Сентябрь уже наложил тусклый тон на природу: желтеют деревья, похолодела стальная вода реки, поблели краски.

Но всё же как хорошо, ах, как хорошо на Амуре!

Дикая, могучая природа, безлюдная тайга, удивительный, сладкий воздух, пахучий от увядающих трав, пряный, дурманящий, хрустально чистый, прозрачный воздух. И эта звенящая, волшебная тишина, когда шлёпанье колёс парохода слышно за много, много вёрст, когда выстрел случайного охотника кажется громом, когда даже звон комара покрывает все остальные звуки – полёт птицы, шуршанье травы, падение камешка в воду.

По сопкам, к вершине, взбегают орешник, дубняк, сосны, ели, лиственницы, пихты. Сейчас, в темноте, еле освещаемый облачной луной, лес кажется густым, бесконечным, страшным. От реки тянет холодом, сыростью.

У костров, разложенных за вершиной сопки – так, чтобы не видно было от реки, – расположилось несколько десятков людей, одетых в самую разнообразную одежду. Здесь и солдатские, потрёпанные и прожжённые у костров шинели, городские пальто, кожаные тужурки, есть даже шубы и приискательские меховые куртки. Большинство в сапогах, но есть в ботинках и обмотках, в охотничьих ичихах.

Некоторые суетятся около солдатских котелков с немудрёной ухой из только что наловленной в Амуре рыбёшки. Некоторые спят, растянувшись у костров. Десятка два человек сгрудились около подобия столика, на котором идёт азартная игра в карты. Банкомёт, бородастый, чёрный приискатель, держит в руках засаленную, разлохмаченную колоду карт и следит за игроками острым, настороженным взглядом. Изредка он вступает в короткие, энергичные перебранки с игроками, и тогда кажется, что вот-вот вспыхнет драка и поножовщина.

Совсем по-военному составлены в козлы винтовки. Около них – что-то вроде знамени: красный, шелковый флаг на длинной палке.

Далеко в стороне от бивуачного шума, так что видно тёмную реку, перерезанную серебряным мечом луны, сидят на поваленной сосне двое. Один – типичный унтер-офицер старого времени: рыжеусый, краснолицый, плечистый, ловкий, подтянутый, несомненно отличный гимнаст. Лицо простое, ничего не выражающее.

Лицо его собеседника гораздо интереснее. Это брюнет, с курчавой, пышной, иссиня-чёрной шевелюрой. У него правильный нос, очень красивые, тёмно-серые глаза, красивый рисунок бровей и губ. Под маленькой бородкой чувствуется сильный, волевой подбородок. Этого человека можно было бы назвать красавцем, если бы не многое отталкивающее в его лице: недоброе, пронизывающее, угрюмое выражение серых глаз, недобрая усмешка, злой изгиб красивых бровей. Лицо сильное, властно приковывающее, чувственное. Но холодно и неприятно на душе, если заглянуть в эти серые глаза, кривая усмешка пугает.

Одет он, сравнительно с другими из всех этих людей, очень хорошо: тепло, чисто и удобно – в хорошую кожаную куртку на меху, в кожаные галифе, удобные сапоги и военную фуражку, которая, впрочем, сейчас не на голове, а лежит около него на земле. На кожаном ремне висит кобур с наганом. Рядом с фуражкой на земле – цейсовский бинокль и офицерская полевая сумка.

Брюнет угрюмо слушает, что говорит ему рыжеусый – тоном почтительного доклада:

– Прибыло их, товарищ Тряпицын, всего двадцать человек. Главный у них – Фролов – здоровый такой, рослый парень, из Благовещенска. Из сибирских стрелков он, значит. Унтер-офицер, на фронте был, а потом Благовещенск в прошлом году весной брал. Есть у него, значит, и удостоверения. Помогла для нас хорошая. Как унтер-офицер и боевой парень.

– Позови его сюда, Демин. Сам поговорю, – коротко бросает брюнет.

Рыжеусый вскакивает совсем по-военному и быстрыми, упругими шагами идёт куда-то в конец лагеря. Брюнет вынимает коробку папирос Лопато «Выдумка», закуривает, думает о чём-то, глядя на реку. Оборачивается на приближающиеся голоса и треск сухих веток под ногами.

Рядом с рыжеусым Деминым крупно шагает Фролов – белокурый гигант, чубастый, с ясными голубыми глазами. Подходит к брюнету молодцевато, подтянуто. Одет в армяк, в суконные солдатские штаны, ичиги, солдатскую фуражку. Прикладывает руку к козырьку.

– Честь имею явиться, товарищ Тряпицын, в ваше распоряжение.

– Здравствуйтесь, товарищ Фролов. Садитесь и расскажите, откуда и как вы сюда добрались. Я слышал, что вы на Бурее действовали за последнее время – против белых и японцев.

– Было и такое. Сейчас расскажу вам, как и что.

Серые глаза Тряпицына упираются в голубые глаза Фролова. Хоть и не очень светло при луне и далёких кострах, но видит Тряпицын, что из крепкого теста замешан этот белокурый гигант. Редко кто не опускал глаз перед взглядом Тряпицына, но Фролов не опустил. С полминуты смотрят друг на друга жгучий брюнет и белокурый богатырь.

– Рассказывайте, – медленно говорит Тряпицын. – Всё по порядку. Начинайте с Благовещенска. Я о вас слышал. Но должен знать всё о вас, если хотите служить народной власти под моим началом.

Фролов рассказывает, как брал он Благовещенск, как наступал на вокзал, как расправлялся с офицерами и буржуями. Довольно естественно и развязно передаёт, как его арестовали при Мухине и как он попал к белым. Допрос, суд.

– Дознались белые, как я бил их на вокзале и в городе, и приговорили меня к расстрелу. Да ещё не сделана пуля для Фролова. Когда повели с суда снова в тюрьму, стукнул я одного конвойного по голове, сбил другого с ног, да и через забор. Ночью выбрался из города, украл лодку и на ту сторону Зеи. А там нашёл друзей, товарищей. Проводили они меня в штаб товарища партизана Шилова. А потом свой отряд организовал. Били нас несколько раз. Да и мы не промах. Положили белых немало. На Бурее стало плохо: белые туда пришли, японцы. Последний раз пощипал я белых, когда их войска на пароходе шли, да и решил к Хабаровску подаваться. Здесь чуть не пропали. Нарвались на засаду, половину наших калмыковцы положили, кое-кто разбежался. Вот двадцать человек вывел. Услышал, что у вас есть особые полномочия

от тайного революционного штаба – и решил двигаться к вам. Вместе оно сподручнее. Дела у белых совсем «табак». Бьют их наши на Уральском фронте.

– Да, – задумчиво говорит Тряпицын, не сводя глаз с Фролова. – Дела их к концу идут. Красная армия гонит их. Скоро их столицу возьмут, Омск. А мы будем здесь, на Амуре, белых гадов крошить. Пощады им не дадим.

– Вы, товарищ Тряпицын, – улыбается Фролов, – белых, вроде меня, не очень уважаете...

– Белых! – блестит глазами Тряпицын. – Гады! Перебить их всех до одного! Никакой пощады – ни офицеру, ни солдату, ни буржую, ни семьям их, ни гадёнышам их! Вырезать всех!

Молчит некоторое время, потом снова говорит – придушенным, низким голосом:

– Нынче весною я сюда пробрался, в Сибирь, из Самары. Тяжёлый это был путь. В Иркутске меня поймали – почуяли гады, что недаром я сюда пробираюсь. Не понравились их контрразведке мои ответы: разговаривал я смело, не по-холоуйски. Ударил меня один прапорщик по лицу. Не забуду я белым гадам этого удара – тысячи их мне заплатят за это. Дай только срок! Убежал я из контрразведки, солдатик один помог – вот как вам, Фролов. А потом и из Иркутска бежал, пробрался в Благовещенск, а оттуда в тайгу.

Тряпицын закуривает папиросу, остро смотрит на Фролова.

– Вы, Фролов, мне нравитесь. Мне такие люди нужны. Если вы оправдаете моё доверие, я вам отдельный отряд дам. У меня целый план мобилизации крестьян разработан. Я хочу армию создать, и унтер-офицеры нам очень нужны будут.

– На Хабаровск думаете идти, товарищ Тряпицын? – с явным интересом спрашивает Фролов.

– Нет, это нам не по силам. Там японцев много. Я думаю вниз по Амуру спуститься, к Николаевску. Белых гадов там немного, японцев тоже мало. Я думаю, что Николаевск мы легко возьмём. Город хоть и небольшой, но богатый. Будет чем поживиться у буржуев. Ну, об этом завтра поговорим.

Тряпицын поворачивается к рыжеусому Демину.

– Не прозевать бы нам пароходов сверху, из Хабаровска. Посты расставил?

– Так точно! – совсем по-военному говорит Демин. – В пяти верстах ниже и в пяти верстах выше ребят посадил на берегу. Не прозеваем!

– Какие пароходы могут пройти?

– Сверху, из Благовещенска, почтовый – «Барон Корф» идёт. Снизу, из Николаевска, – «Воткинский» и «Люкс».

– Эх, захватить бы! – вздыхает Фролов.

– Кишка тонка! – насмешливо цедит Тряпицын. – Но обстрелять – обстреляем как следует. До сих пор ещё ни один от нас целым не уходил. Ну, ладно, пошли спать. Демин, ты мне за порядок отвечаешь.

Тряпицын озабоченно смотрит на тучи, надвигающиеся на луну.

– Дождя бы только не было. Плохо в дождь без крыши. Дождь – наш самый главный теперь неприятель.

– Ничего, товарищ Тряпицын! – весело говорит Фролов. – Как раздавим белых гадов, – и крыша будет, и чифан будет, да и водка найдётся. Вот возьмём Николаевск – то-то заживём!

XIV.

Когда Николай Иванович Синцов, хороший знакомый старика Полунина, спорил с его сыном, прапорщиком, и указывал на все недостатки колчаковской системы, он был вполне искренен. Старый народник, эсер, он не раз в течение своей сорокапятилетней жизни платился за свои убеждения.

В 1905 году он, состоя преподавателем гимназии в Томске, был даже арестован жандармами. Жандармы были вежливы с ним и вскоре отпустили. Но гимназическое начальство стало косо смотреть на «красного» педагога и ходу ему не давало. Это позволяло Синцову осуждать существующий строй, ругать его потихоньку и считать себя почти революционером. Но фактически он отлично делал своё дело, был весьма исправным чиновником и службистом, а своим николаевским ученикам-реалистам преподавал историю и русский язык строго в пределах программы, предписанной министерством народного просвещения. Боже мой, как много было таких «революционеров» в Российской империи!

Начальство перевело «красного» педагога в Николаевск. Это рассматривалось как «ссылка», ибо Николаевск был медвежьим уголком, далёким от строгих глаз высшего контроля, «дырой», где вольнодумство Синцова никому не мешало.

Просидев в этом богатом рыбопромышленном городе два-три года, Николай Иванович, кроме своих прямых педагогических обязанностей, занялся и коммерцией. Вошёл в компанию с состоятельным рыбопромышленником, купил рыбалку, скупал меха. В этом маленьком, круглом человеке с бородкой клинышком и в пенсне неожиданно обнаружили таланты купца.

Педагогическое начальство сквозь пальцы смотрело на коммерческие операции этого «красного» педагога, решив, по-видимому, что это гораздо лучше и спокойнее для него, начальства, чем какая-нибудь подпольная эсеровская работа.

Революцию 1917 года Синцов встретил, конечно, радостно, играл в Николаевске некоторую активную роль, но и своей коммерции не забывал. К октябрю 1917 года он уже имел в Николаевске приличный дом, некоторую сумму денег в банке, а потому большевистский переворот встретил не менее мрачно, чем и настоящие, не прикрытые партийными лозунгами буржуи.

В 1918 году, когда Николаевск был в руках большевиков, Синцов выступал против них на митингах и раз даже чуть не был избит грузчиками. Приход японцев в Николаевск он встретил как освобождение от власти бандитов. Кончились все дикие, социалистические эксперименты, можно было снова говорить реалистам о красотах «Слова о полку Игореве», о чудесных толстовских «Казаках», об эпохе Возрождения, о турецких войнах Екатерины. Можно было и снова заняться торговлей.

Летом 1919 года, когда занятия в реальном училище были прекращены, он увёз в Благовещенск партию рыбы и очень выгодно продал её. Именно к этому моменту и относилась его беседа со старым, хорошим знакомым Полуниным и его сыном Александром, юным прапорщиком. Ругал Синцов колчаковцев совершенно искренне, воскресив в своей душе прежние эсеровские мечтания, уверенный, что только эсеры могут восстановить Сибирь и за нею Россию.

Николай Иванович переписывался по этому поводу с Алексеевским в Омске, а однажды даже имел по поводу этой переписки с лидером эсеров крупное объяснение с белой контрразведкой, перехватившей его письмо. Николай Иванович дал смиренные пояснения – и его оставили в покое. Но своё недовольство белой властью он продолжал высказывать – правда, только в разговорах только с такими лицами, которые не могли его выдать.

Падение Омска, поражение белых армий Николай Иванович встретил со смешанным чувством как будто радости, но и большой тревоги, которая стала постепенно усиливаться. События приближались к Николаевску, к самому благополучию Николая Ивановича и его семьи. Вспомнился 1918 год, грозные большевистские речи агитаторов, вспомнилось, что только высадка японских войск в Николаевске спасла город от разграбления.

И Николай Иванович всё чаще ловил себя на мысли, что если он пока и спокоен, то только потому, что в Николаевске стоял японский отряд, который, несомненно, не допустит никаких безобразий.

Из области шли неутешительные вести. К Николаевску двигались со всех сторон партизанские отряды, объединённые под общим руководством какого-то Тряпицына, как говорили – петербургского рабочего, присланного со специальными заданиями из Европейской России. Тряпицын этот не пропускал ни одного парохода по Амуру, не обстреляв; он объявил мобилизацию крестьян, вооружал их, сколачивал крепкие военные отряды и медленно, но верно шёл к Николаевску.

Говорили о Тряпицыне разное. Одни – что это идейный большевик, вполне интеллигентный человек, настроенный весьма мирно. Другие – что это бандит, разбойничий атаман, который грозит вырезать всех буржуев. Николай Иванович думал, что истина где-то посередине.

Он начинал смотреть в будущее с тревогой. Беспokoила судьба не только своя собственная: беспокоила больше судьба семьи. Была она у него большая: жена, Анна Алексеевна, с которой жил уже почти двадцать лет, старший сын Леонид, оканчивающий реальное училище, дочь Тамара, гимназистка шестнадцати лет, и ещё две дочери – Ольга семи лет, и Надежда – четырёх.

Семья была дружная, хорошая, в доме был достаток. Николай Иванович часто думал, что он вполне счастлив. Хорошая, добрая жена, способные, послушные дети, свой дом, текущий счёт в банке в иностранной валюте. Что ещё желать? Но грозные вести из области и неуклонное приближение партизан к городу тревожило, отравляло жизнь. Что несут они с собою? И сжималось иногда сердце в предчувствии беды.

XV.

В декабре 1919 года комендант Николаевска, полковник Медведев, получив сведения, что красные отряды Тряпицына сосредоточились по Амуру выше города, у деревни Циммермановки, решил отправить туда отряд, чтобы рассеять партизан. Отряд, составленный, главным образом, из учащейся молодёжи, призванной на военную службу, должен был идти в опасный поход под начальством офицеров – Токарева и Цуканова.

– Ты не пойдёшь! – взволнованно говорил сыну Леониду Николай Иванович. – Я не отпущу тебя.

– Папа, не говори глупости! – розовощёкий крепыш Леонид был взволнован не меньше отца. – Как это не пойду? Я должен идти, раз все идут. Ты хочешь, чтобы меня назвали трусом?

– Но это преступление! – вскричал Николай Иванович, снимая и снова надевая пенсне. – Посылать на убой мальчишек! Ведь тебе недавно только исполнилось семнадцать лет. Нет, нет! Это невозможно!

– Лёня! – умоляюще сказала сыну Анна Алексеевна. – Я прошу тебя, не сердь отца! Ну, какой из тебя солдат? Ты ведь, ещё ребёнок.

– Ребёнок? – гневно воскликнул Леонид. – Я лучший стрелок во взводе! Меня поручик Токарев в унтер-офицеры наметил. Что вы понимаете в этом деле! Я должен идти и пойду! И потом это не от меня зависит: приказано – значит, нужно идти!

– Правильно, Лёня! – восторженно поддержала брата старшая сестра, гимназистка Тамара. – Это твой долг!

– Иди в свою комнату! – гневно перебила девушку Анна Алексеевна. – Тебя ещё не хватало! Иди, посмотри за сестрами.

– Всё равно – Леонид прав, – упрямо повторила Тамара. – Все идут, вся молодёжь. Нужно защищать город.

– Я сейчас позвоню полковнику Медведеву, – раздражённо сказал Николай Иванович. – Я скажу ему, что жестоко посылать против партизан желторотых мальчишек.

– Ну, иди, говори! – зло пробормотал Леонид. – Интересно, что он тебе ответит. Помни, что я на военной службе.

XVI.

Было ещё темно, когда поручик Токарев и подпоручик Цуканов повели свой отряд, состоявший из ста человек, в наступление на Циммермановку. Со стороны реки были смутно видны дома деревни и валы из снега, облитые водой. За валами изредка перебежали с места на место партизаны.

– Больше спокойствия! – кричал Токарев своей молодёжи. – Пулемёты – на фланги! Задайте жару товарищам! Лучше применяйтесь к местности. Пусть каждая льдина будет вашей крепостью. Помните, что это трусливая сволочь, которая удерёт, когда увидит, что мы твердо решили взять Циммермановку. Ну, ребята, с Богом, в цепь!

А там, за валами, брюнет с серыми глазами говорил своим людям:

– Пусть сунутся, белые гады! Пусть попробуют! Эх, если бы пулемётик бы нам! Но нас, товарищи, больше и стыдно будет отступать перед мальчишками. Помните – подпустить как можно ближе, чтобы даром патронов не терять. Товарищ Фролов!

Белокурый гигант весело козыряет:

– Я здесь, товарищ Тряпицын!

– Вы мне отвечаете за левый фланг. Я буду на правом.

– Будьте уверены, товарищ Тряпицын! Не впервой! Пусть сунутся. Встретим!

Гигант быстро бежит на левый фланг.

– Товарищи переплётчики! – весело говорит он притаившимся и синим от волнения людям. – Слушай мою команду! Пока не скажу, – огня не открывать. Кто не будет слушать – того по морде. У меня разговор короткий. Поняли? Ну, вот, внимание! Идут, белые гады!

На белом саване снега растянулась тоненькая цепочка тёмных фигурок.

– А хорошо идут, гады! – понимающе говорит Фролов и подаёт патрон в ствол. – Вот так мы на Митавском шоссе наступали с 9-м Сибирским полком. Красота!

Цепь приближалась. Видно было, как пулемётчик продёргивает ленту, пристраивает пулемёт за льдиной.

– Ну-ка, вспомнить, что ли, старинку! – говорит Фролов. – Вы не стреляйте, только я.

Он прицеливается, стреляет. Около пулемётчика поднимается снежная пыль.

– Промазал! – сокрушённо бормочет Фролов. – Ну-ка, ещё разок.

Он стреляет. Пулемётчик взмахивает рукой и падает на бок.

– Есть! – Фролов сверкает глазами. – Ну-ка дадим по патрону. Справа – начинай!

Две фигурки упали, остальные залегли. Немедленно открыли огонь. Запел свою машинную песню и пулемёт, потом второй. Три-четыре партизана повалились, один громко и протяжно застонал.

– Ну, заныл! – брезгливо поморщился Фролов. – Ну-ка, товарищи, давай почаще!

Бой разгорался. Стало светло, что было не в пользу наступающего по ровному снегу отряда Токарева.

– Лёня, смотри-ка! – крикнул юный реалист розовощёкому Синцову. – Вон там бегают один взад и вперёд. Я уверен, что это Тряпицын. Про него говорят, что здорово храбрый. Ну-ка по нему!

– Промазал! – насмешливо цедит Синцов. – Теперь я!

Он стреляет. Фигурка на берегу прячется за валом.

– Рядом! Спрятался, сволочь!

– Цепь, вперёд! – кричит Токарев.

Вскакивают, бегут. Несколько человек падают.

– Если так пойдёт, – озабоченно говорит Токарев Цуканову, – то скоро мы будем без людей. Не плохо стреляют.

Движение вперёд замедляется. Молодёжь крепко залегла за льдинами, за снежными сугробами. Вокруг – снежная пыль от партизанских пуль.

– Плохо! – бормочет Токарев. – Надо вперёд, скорей вперёд!

Он встаёт во весь рост:

– Цепь, встать! Вперёд, за мной!

Бегут вперёд, но не все. Падают. Синцов чувствует мгновенный горячий удар. Падает, сильно ударившись о льдину. «Ранен! Только куда... кажется, в плечо...»

Он видит, как удаляются впереди чёрные фигурки. Так страшно одному на снегу... Холодно. Мальчик смотрит на руку. Полушубок, левое плечо в крови.

– Синцов! Вы ранены! – кричит ему кто-то. – Ползите на перевязочный пункт.

XVII.

Только через пять дней привезли в Николаевск Лёню Синцова – потерявшего много крови, простуженного, обмороженного, в бреду.

– Преступники! Посылать на убой! – кричал Николай Иванович, блестя пенсне.

– Мальчик мой бедный! – заливалась слезами Анна Алексеевна, с тревогой глядя на врача, который осматривал Лёню.

– Плакать нет причины, – строго сказал врач. – Плечо пробито навывлет, но кости целы, вернее, пробиты, но хорошо, без трещин. Руку придётся носить на перевязи долго. Поморожены ухо, кончик носа и два пальца на руке. Это ничего, не сильно. Вот инфлюэнцу надо крепко лечить. Воспаления лёгких, надеюсь, не будет. Всё ничего: молодой, здоровый, богатырь. Делайте всё, что я скажу, – и будет прекрасно.

Ночью Лёня бредил и кричал, чтобы его не бросали посреди Амура, что он не хочет умирать. Николай Иванович узнал от других раненых, что они чуть не замёрзли, когда их везли в город. Попали в буран, возницы их бросили и ускакали на лошадях. Только на следующий день за ними приехали и взяли, уже полузамёрзших.

Лёню спасло богатырское здоровье и очень тёплая одежда. Некоторые раненые погибли. Только через неделю юноше стало лучше, и он жадно набросился на еду.

– Слава Тебе, Господи! – хлопотала около его постели Анна Алексеевна. – Кушай, сыночек, кушай, родной, на здоровье. Услышал Ты, Господи, вернул мне сыночка...

– Папа, – шепотом, простуженно обратился юноша к Николаю Ивановичу. – Ну, а как там? Не взяли Циммермановку?

– Нет, дорогой, не взяли, – раздражённо заговорил Николай Иванович. – Не взяли и не могли взять. Безумием была вся затея. Вас едва было сто человек, а их многие сотни. Они вас и били, как куропаток: на льду Амура вы были, как на ладони. У вас убито восемнадцать человек и ранены четырнадцать. Ранен и ваш герой – Токарев. Остальные еле ноги унесли, почти все поморожены. Больше половины вашего отряда выбыло из строя. Из города на помощь вышел отряд полковника Вица. Сейчас говорят, что Виц обойдён, что часть его солдат перешла на сторону красных, что отрезанный от города Виц с остатками отряда уходит в Де-Кастри. Ещё слава Богу, что ранен ты не серьёзно и уже с нами. Иначе погиб бы.

– А как шли, папа! – блестя глазами, прошептал Лёня. – Как на параде – красота! Токарев нас хвалил – говорил, что на фронте, в германскую войну, такого смелого наступления не было. Все, как один!

– Ну, довольно тебе, герой, разговаривать, – нежно сказал Николай Иванович, поправляя одеяло на постели сына. – Лучше поспи.

– Скажи только, папа, что будет дальше?

– Дальше? – Николай Иванович нахмурился. – Не вижу ничего хорошего. В городе паника. Красных видели уже совсем недалеко. Одна надежда на японцев. Но их не так много.

Говорят, будет образована гражданская милиция, ну, да на неё надежда слабая. Боюсь, чтобы не вышло так, как два года тому назад в Благовещенске было. Только там лучше было: можно было в Сахалин, на китайскую сторону Амура, бежать, а у нас куда побежишь? Кругом снег, лёд и враждебные крестьяне. Да, надежда только на японцев – что они не пустят красных в город. Ну, ладно, Лёня, спи, не думай об этом.

Николай Иванович вышел в соседнюю комнату, закурил папиросу и мрачно задумался. Несколько раз прошёлся по комнате, бормоча под нос.

– Да-с, неважно, совсем неважно, уважаемый Николай Иванович. Предлагали осенью в Хабаровск уехать – так пожалели дом оставить. Едва ли будет сладко от товарищей. Гм... гм...

XVIII.

3 февраля 1919 года заведующий судной частью при штабе атамана Кузнецова в Благовещенске, поручик Наконов, срочно созвал своих подчинённых, в том числе и прапорщика Полунина. Собралось человек восемь.

– Вот что, господа. Положение города отчаянное. Власть совершенно растеряна. Я был у атамана, был у управляющего областью Прищепенко. Никто ничего не знает, есть ли надежда на что-нибудь. Обвинять их тоже нельзя, потому что позиция японцев неопределённа и можно допустить, что они останутся нейтральными в той драме, которая несомненно произойдёт в городе, если красные сюда войдут. Под самым городом стоят отряды Чёрного Ворона, настроение городских рабочих и черни соответствующее, казаки колеблются и надежда на них слабая. Если японцы умоют руки, то может повториться такая же резня, какая была в Благовещенске два года тому назад. Должен вам сообщить, что вчера ко мне на квартиру позвонил неизвестный, который предложил мне и всей судной части, т. е. вам, остаться и служить у них, у большевиков. Голос сказал мне, что большевикам отлично известна беспристрастность судной части и что товарищи Шилов и Чёрный Ворон гарантируют нам безопасность. Голос сказал далее, что специально уполномоченное лицо готово встретиться со мною, чтобы дать мне гарантии.

– Что же вы ответили? – спросил один из офицеров, штабс-капитан Полетика.

– Я сказал ему очень вежливо, что мнение большевиков для нас чрезвычайно ценно. Но так как убийцам, грабителям и прохвостам мы верить не можем, то нам не нужно никаких их гарантий. Повесил трубку. Сейчас же снова звонок. «Подумайте, хорошенько подумайте. Чем нищенствовать по заграницам, оставайтесь-ка лучше служить народно-революционной власти». Я снова повесил трубку.

Наконов закурил папиросу и продолжал:

– Господа, я вас собрал, чтобы объявить вам, что по моему глубокому убеждению всё кончено. Опирайтесь нам не на кого. Японцы получили инструкции из Владивостокского штаба генерала Оой закончить борьбу с красными и лишь способствовать безболезненной смене власти. По-видимому, такой резни, какая была здесь в 1918 году, они не допустят. Но... бережёного Бог бережёт. Я считаю, что нам, офицерам, да ещё служащим в таком ответственном учреждении, грозит смертельная опасность. Мы – первые жертвы. Поэтому, не рассчитывая на распорядительность нашего высшего начальства, я предлагаю просто-напросто удирать в Сахалин, пока не поздно. Помните, что ещё до входа партизан Чёрного Ворона в город нас могут арестовать те большевики, которые ведут здесь тайную работу. В полном сознании важности минуты и своей ответственности, как вашего начальника, я вам заявляю: о борьбе больше речи нет, борьба – по крайней мере, в настоящий момент – закончена. Поэтому нужно спасать жизни, которые пригодятся для будущей борьбы с большевизмом. Здесь, в вашем присутствии, в эту страшную минуту, когда уже совершенно ясно, что мы разбиты, что всё кончено, я торжественно повторяю: борьба кончена. Но борьба начинается снова – в другой форме, в дру-

гом виде, на чужих, может быть, землях, но она начинается. Я не мыслю сдачи, это временное отступление, я не пойду никогда на компромисс с большевиками, но было бы смешно позволить зарезать себя, как барана. Мы должны спастись, наши жизни ещё пригодятся. Итак, господа, властью, данной мне светлым и прекрасным человеком, верным и преданным сыном России – адмиралом Колчаком, – я освобождаю вас от ваших обязанностей и советую уезжать как можно скорее в Сахалин. Омской власти нет. Верховный правитель выдан союзниками большевикам и сидит в Иркутской тюрьме, а может быть, уже убит. Всё разваливается. С окровавленным сердцем, но с чистой совестью я повторяю вам: борьба временно закончена, спасайте свои жизни, они могут погибнуть совершенно бесполезно. Я предлагаю немедленно привести все дела судной части в порядок. Мы опечатаем их и оставим под наблюдением желающего из наших писарей. Есть у меня тут один из них на примете – большевичок по настроению. Он и передаст дела Чёрному Ворону. Пусть видят, что у нас не застенки и что действовали мы беспристрастно и в рамках тех распоряжений, которые получали из Омска.

Тихо и грустно стало в комнате. Заявление поручика Наконова разрушало всякую надежду, что ещё не всё кончено. Заговорили о деталях бегства.

– Должен вам ещё для сведения сообщить, – сказал Наконов, – что сегодня я встретил поручика Матсумото. Он сказал, что японский штаб может укрыть активных белых, если в городе начнутся бесчинства. Это передайте вашим знакомым. Итак, господа, до встречи в Сахалине. Я верю, что так или иначе борьба с большевизмом воскреснет снова – и тогда мы ещё пригодимся. Не может быть, чтобы мир не понял всего ужаса этой проклятой болезни.

XIX.

– Ты должен бежать, отец, – уже раздражённо уговаривал Полуниин старика. – Опасность страшная. К черту дом, к черту всё! Ты ещё не стар, начнёшь в Харбине новую жизнь. Возьмём самое необходимое, что можно взять с собою. Но нужно скорее, скорее. Каждая минута приближает опасность...

– Нет, Саша, никуда я не поеду, – печально говорил старик Полуниин. – Стар я, чтобы бегать. Суждено умереть, – ну, что ж... пожил. Я тебе уже много раз говорил, что никуда не побегу. В Благовещенске прожил жизнь, здесь умерла твоя мать, здесь мой дом, созданный с таким трудом за многие, многие годы. Куда я побегу? Ты молод, ты – дело другое. Не поеду я, Саша, не теряя времени. Помни, что ты офицер и тебе надо спастись. Тебя не пощадят. А я уже старик... может, и не тронут...

– Ты отец офицера. Этого достаточно. Ты – домовладелец и буржуй. Этого тоже достаточно. Они не пощадят тебя.

– У меня есть друзья из рабочих. Я уже говорил с некоторыми из них. Обещали помочь. Не бойся ты за меня. Теперь не будет такой резни, как была. Люди же они всё-таки, а не звери.

– Звери, папа, звери! Нельзя им верить. Придут вот такие, как Фролов, помнишь? – и начнут резать направо и налево. У них нет ничего святого... это каторжники, убийцы!

– Я не поеду, Саша. Первое время не буду жить дома, уйду к рабочему Карзину, он в затоне живёт, звал. А когда успокоится всё – вернусь домой.

Зазвонил телефон. Старик Полуниин взял трубку. Побледнел, затрясся.

– Саша, Саша, это мадам Румянцева звонит: партизаны Чёрного Ворона уже прошли вокзал! Вперёд конный отряд проскакал, к центру города. Ты отрезан от берега Амура! Беги в японский штаб, к поручику Матсумото! Это единственное спасение! На берегу цепи красных – обстреливают бегущих через Амур. Господи, Боже мой! Беги скорей!

Полуниин был уже одет – в шубу, шапку, валенки.

– Ну, отец, бежим? Бежим вместе? Ещё успеем!

– Нет, Саша! Я не побегу. Будь, что будет. Дай я тебя поцелую, благословлю. Увидимся ли?

Они обнялись, старик перекрестил сына.

– С Богом, Сашенька! Слава богу, что мама не дожила до этих проклятых дней. Ну, иди, иди! Дай весточку, благополучно ли добрался. Господь да благословит тебя, сын мой...

XX.

До японских казарм Полунин добрался вполне благополучно. Доехал на извозчике, вылез за квартал, осторожно, оглядываясь, пошёл к казармам. Со стороны Амура постреливали. Проехал какой-то вооружённый отряд – не то казаки, уже без погон, не то партизаны. На Полунина не обратили никакого внимания.

У ворот казарм Полунина остановил часовой. Молодой человек пустил в ход весь запас японских слов:

– Матсумото-сан... дозу. Ватакуси россиано гунзин.

Показал японское удостоверение о воинском звании. Солдат пропустил, и через минуту Полунин уже жал руку поручику Матсумото, широкоплечему, розовощёкому, весёлому японцу, хорошо говорившему по-русски.

– Уже много прибежали, – говорил он Полунину, – полная казарма. У нас есть приказ – помогать. Вы скажите вашим, чтобы не боялись. Мы партизанам не выдадим. Сейчас ваши на берегу чуть не попались. Человек двадцать через таможенную рогатку пошли, чтобы перейти в Сахалин. А красные их начали обстреливать. Ваши стали отвечать. Одного красного убили, а другого захватили в плен, набили морду и отпустили. Все благополучно ушли через Амур. А вы почему опоздали в Сахалин?

– Я отца уговаривал бежать со мной. Пока уговаривал и спорил, красные вошли в город. Тогда я – к вам. Больше некуда бежать. Матсумото-сан, что теперь с нами будет?

– Это неизвестно. Я не знаю. Я думаю – переведут вас в Сахалин. Скажите вашим, чтобы не боялись: японский штаб никого не выдаст.

В японских казармах Полунин и другие скрывавшиеся там белые прожили несколько дней. Новая власть потребовала выдачи, но получила резкий отказ.

Партизаны и городские большевики ходили толпами к японским казармам и смотрели через охраняемые часовыми ворота в казарменный двор. Переругивались с гуляющими по двору белыми, выманивали их на улицу, за цепь японских часовых.

– Видит око, да зуб неймёт! – невесело посмеивались белые.

Один из белых, какой-то военный чиновник, увидя как-то, что партизан на улице нет, вышел со двора. Всё спокойно, никого нет. Чиновник завернул за угол. Мгновенно его схватили, усадили на извозчика, увезли и в тот же день расстреляли.

Однажды пришёл поручик Матсумото, вызвал Полунина, к которому особенно хорошо относился, и некоторых других офицеров.

– Наше начальство решило перевести вас в Сахалин. Завтра мы устроим маленький маскарад. Всем вам придётся одеть японскую солдатскую форму, вас окружают настоящие японские солдаты и в таком виде, строем, вы перейдёте по льду в Сахалин. Большевики не решатся напасть на вас, раз вы будете под нашей охраной. Нам нужно соблюсти де... де... как это говорится?

– Декорум, – подсказал Полунин...

– Да, декорум. Официально это пройдёте не вы, а японцы – понимаете? – Матсумото засмеялся, – это будет очень интересный маскарад.

Получился, действительно, забавный маскарад. Большинству русских японские шинели и японские меховые безрукавки не доставали до колен. Среди белых были очень высокие люди – те выглядели необыкновенно комично.

Меховые шапки были глубоко надвинуты на лоб, уши и затылок закрыты меховыми отворотами шапки. На нос надеты специальные японские суконные наносники. Лица были закрыты хорошо, но рост выдавал. Всем были выданы японские винтовки и полный комплект патронов на случай нападения.

Рота вышла со двора казармы строем под командой поручика Матsumото и спокойным, деловым шагом направилась к берегу Амура. Маскарад, конечно, стал сразу ясен. Партизаны – большинство невооружённые – шли по бокам роты, улюлюкали и пересмеивались:

– Ты таких японцев видал?

– Видал: вон тот японец третий слева – Трифонова, старика с Амурского базара, сынок.

– А вон наш взводный офицер – ещё с германской войны.

– Вот так японцы! Придумали! В Сахалин, сволочи, удирают. Вот бы их сейчас укоцать всех!

– Да... укоцать! С ними японцы настоящие.

Переход через Амур прошёл благополучно. На берегу собралась огромная толпа любопытных. Они ругали белых, называли по фамилиям, угрожали. Кое-кто из белых, несмотря на запреты, отвечал партизанам.

– Мы ещё придём, товарищи! Вернёмся!

– Милости просим! – отвечали партизаны. – Угостим, как следоват!

Спускаясь на лёд Амура, Полуниин нагнулся, с трудом сковырнул кусок мёрзлой земли, положил в карман. Его примеру последовали многие.

– Прощай, российская земля! Увидимся ли?

В Сахалине поручик Матsumото обратился к русским с маленькой речью:

– Господа! Здесь мы должны проститься. Ваша одежда уже привезена сюда, и вам придётся превратиться в штатских людей. Наше командование приказало выдать вам охранные листы до линии КВжд и каждому немного денег. Мы расстаёмся здесь, но я думаю, что не навсегда. Я лично не верю, что с большевиками можно договориться. Я лично, думаю, что борьба ещё будет. Тогда мы снова встретимся. Я буду очень рад. Генерал просил передать вам его лучшие пожелания в новой жизни. Прощайте, господа!

В тот же день, идя по улице Сахалина, Полуниин встретил благовещенского домовладельца Бревнова, соседа старика Полуниина.

– Вот беда-то какая! – захохотал Бревнов. – Вашего сослуживца-то тоже убили, окаянные.

– Как? Кого?

– Да Полетику-то, штабс-капитана. Вы-то успели в японский штаб удрать, а его захватили. Били в тюрьме, а ночью уголовники повесили его на собственных кальсонах.

– Бог мой! – Полуниин зашатался, схватившись за голову. – Вы говорите – т о ж е. Кого же ещё убили? Ведь я сидел у японцев взаперти... ничего не знаю...

– Не знаете? – шепотом, расширив глаза, побледнев, сказал Бревнов. – Да батюшка-то ваш...

– Что!? Отец?...

– Приказал долго жить! Убили, проклятые! Пришли три партизана и застрелили во дворе...

Полуниин схватился за Бревнова, чтобы не упасть.

XXI.

Если бы обладал человек способностью заглянуть в будущее, если бы хоть на мгновение могли бы несчастные жители Николаевска увидеть те горы трупов – истерзанных, залитых кровью, обезображенных, которыми большевики завалили улицы города и берега Амура, – вероятно, хватило бы энергии, решимости, мужества защищать свой родной город, свой очаг, свою семью, своих детей – несчастных детей, которых не спас нежный возраст от бессмысленной, сатанинской злобы партизан.

Так трагически сложилось, что усталый, перепуганный, отрезанный от России, попавший во власть бесконечных слухов николаевский обыватель вдруг поверил, что убийцы могут быть приличными людьми, что проповедующие расправу, резню и грабёж могут править, судить, быть справедливыми, могут наладить жизнь и дать счастье людям, измученным гражданской войной.

Несчастные николаевцы получили кровавый урок – этот урок с ними вместе получил и весь мир, который, однако, до сих пор ещё не совсем уверен в том, что с большевиками никаких условий заключать нельзя, что верность договору противоречит всей их системе, всему их учению.

В конце февраля 1920 года большевики тесно обложили Николаевск со всех сторон. Находящаяся вблизи города маленькая крепость Чныррах была оставлена японским отрядом, отошедшим в город. Партизаны заняли Чныррах.

В крепости были дальнобойные орудия без замков. Считая, что орудия эти не представляют никакой опасности, японцы, отступая в город, не испортили их. Но оказалось, что большевики, уходя в 1918 году из Николаевска под натиском японских войск, замки к орудиям закопали в потаённых местах. Теперь замки были вырыты – и через несколько дней начался обстрел Николаевска. Этот обстрел не причинил почти никакого вреда городу, но способствовал тому, что паника усилилась и перепуганный обыватель совершенно упал духом и перестал думать о сопротивлении.

Психологически сдача города Тряпицыным была подготовлена. В городе оставалась ещё одна сила – японский отряд майора Исикава. С этой силой партизаны считались больше всего. Партизаны не боялись гражданской милиции, организованной кое-как и наспех в городе, но японцев они боялись.

При том положении невмешательства в русские дела, которое стало, неожиданно для белых русских, японской политикой на Дальнем Востоке, Тряпицын рассчитывал сговориться с майором Исикава и добиться сдачи города. Его надежды оправдались.

XXII.

Николай Иванович Синцов пришёл домой страшно взволнованный и, как показалось Анне Алексеевне сначала, – довольный.

– Ну, Аня, слава Богу, – кажется, всё наладится, – почти весело сказал он жене. – Не так страшен черт, как его малюют, не так страшны партизаны. Кончится этот ужасный обстрел.

– Что такое, Коля? Откуда ты?

– С митинга в Народном доме. Председатель думы Комаровский, городской голова Карпенко, председатель земской управы Шелковников и другие делали доклад о мирных переговорах с большевиками. Ездили к партизанам в Чныррах Комаровский, Карпенко, поручик Мургабов и капитан Немчинов. От японцев тоже были представители. Большевики встретили делегацию очень любезно. С их стороны вели переговоры Тряпицын, Бич, Случайный и какой-то дед Пономарёв. Большевики объявили, что власть Колчака пала, и доказали это телеграм-

мами и газетами. Тряпицын сказал, что вся Сибирь признала власть советов и что только Николаевск бессмысленно сопротивляется. Японцам были предъявлены доказательства того, что высшее японское командование декларировало строжайший нейтралитет. Партизаны произвели вполне удовлетворительное впечатление на нашу делегацию. Они держались в высшей степени прилично и категорически заявляют, что Николаевск только выиграет, если сдастся, что они гарантируют городу полный порядок, что никаких арестов произведено не будет, что теперь нет ни белых, ни красных, а только русские, что старое должно быть забыто. Комаровский, докладывая всё это в Народном доме, был радостно взволнован, говорил, что Тряпицыну верит, что советская власть переменилась и готова на компромисс с буржуазией, что всё равно другого выхода для Николаевска нет и нужно сдаваться. Ну, вот. Рассказав всё это и заразив своим полным надежд настроением собрание, он предложил всем встать и торжественно, срывающимся голосом крикнул: «Да здравствует советская власть!» Собрание поддержало его и постановило послать к японскому командованию депутацию с просьбой сдать город партизанам. Вот, Аня, тебе и полный доклад о сегодняшнем собрании.

Анна Алексеевна слушала этот рассказ мужа с пунцовыми от волнения щеками. Что-то было в этом искусственно приподнятом тоне мужа, что пугало её. Она видела, чувствовала всей душой, что Николай Иванович встревожен, что рядом с деланной радостью в его голосе, в глазах, во вздрагивающих губах, в нервном подёргивании рук сквозит страх, огромный животный страх. Она заговорила – и сама не узнала свой срывающийся дрожащий голос:

– Коля, извини меня... ты был там и всё слышал... тебе лучше знать. Но я боюсь, боюсь – и ничего не могу сделать с собою. С тех пор, как я узнала, что ведутся переговоры и партизаны могут войти в город, – я места себе не нахожу, меня всю трясёт, я не сплю по ночам. Я чувствую, я чую сердцем, что всё это принесёт нам беду. Эти партизаны... ты никогда не уверишь меня, что эти люди никого не тронут. Тряпицын, Бич, Дед-Пономарёв... да это каторжники какие-то, ты только вдумайся в эти имена! Я боюсь, Коля, боюсь! Эти твои эсеры, да эсдэки – Комаровский, Карпенко, Шелковников – не доведут нас до добра. Так уж и поверили большевикам! Давно ли ругали их последними словами, называли себя вечными врагами большевизма. И вдруг – «да здравствует советская власть!» Да что же это такое? Перепугались они, Коля, и запутались, не знают, что делают, свою шкуру спасают...

– Милая моя, – раздражённо сказал Николай Иванович, задетый словами жены об эсерах, – я тоже эсер, как тебе уже много лет известно, и заявляю тебе, что эсерство тут ни при чём. Комаровский, Карпенко, Шелковников занимают все видное положение в общественной и административной жизни города и потому люди ответственные. Если они кричат «да здравствует советская власть», то это не значит, что они большевики. Просто им нужно задобрить партизан, доказать им, что теперь население, представителями которого они являются, примет советскую власть. Только и всего: это тактический приём. Другого выхода нет. Что ж ты хочешь – чтобы они заявили, что будут драться до последней капли крови? Наивно этого требовать от людей невоенных, когда и военные уже почти отказались от борьбы и признали своё бессилие.

– Будь это не партизаны, – не сдавалась Анна Алексеевна, – а настоящая армия, я не так бы боялась. Но ведь это голытьба, отбросы. У них ничего святого нет. Половина из них каторжники или сыновья каторжников.

– Но у них есть руководители из советского центра, которые не позволят бесчинствовать.

– И ещё... – совсем упавшим голосом сказала Анна Алексеевна. – Ты подумал о Лёне? Я больше всего за него боюсь. Он был в отряде Токарева, он – колчаковский солдат, он ранен в бою с партизанами... Я боюсь... Возьмут его, чует моё сердце, что возьмут.

– Не говори глупости! – сумрачно возразил Николай Иванович. – Таких, как он, сотни. Он не офицер, а простой солдат, только недавно мобилизованный. Всем известно, что это была мобилизация, насильный набор интеллигенции. Нужно только молчать, а Лёне прятаться, не

показываться, пока не успокоится всё в городе. Пускай сидит дома, благо рана ещё не зажила. Скажи нашим девчонкам, чтобы они не болтали и забыли на время, что у них есть брат. Да и не все знают, что наш сын был под Циммермановкой.

– Не все? – вскричала Анна Алексеевна. – Не все? Мне довольно, что наши соседи видели, как его привезли раненого и обмороженного. А соседи – ты знаешь это не хуже меня – грузчики, самые ярые большевики. Донесут, чуёт моё сердце, донесут...

Анна Алексеевна заплакала. Николай Иванович не успокаивал её, мрачно ходил из угла в угол, курил. Думал, что не только соседям-грузчикам нельзя верить, но и горничная Глаша доверия не внушает. За последнее время она стала дерзка, иногда вела себя вызывающе, а один раз недавно, на какое-то замечание Николая Ивановича, буркнула, что «бар скоро не будет, будя». Что стоило ей привести каких-нибудь своих парней, с которыми она вечно пропадала на танцульках? Но жене о своих опасениях ничего не сказал.

В это время вернулась от подруги Тамара. Возбуждённая, раскрасневшаяся от холода, она не заметила ни слез матери, ни мрачности отца. Бросила свёрток книг на стул, сняла шубку и, поцеловав мать, быстро заговорила:

– Сейчас была у Нюры. Пришёл её отец и говорит, что завтра решено подписать сдачу города. Японцы, говорит, согласились впустить партизан. Слава Богу, кончится эта стрельба и можно будет снова ходить в гимназию. Мы уже неделю не занимаемся. Говорят, что партизаны обещали никого не трогать и что вовсе они не такие уж страшные.

Она прошла в свою комнату. Николай Иванович смотрел на её раскрасневшееся, юное, очаровательное личико и думал, что и ещё одна опасность есть для их семьи в этом вторжении в жизнь города оголтелой, разнузданной черни. «Нужно будет следить, чтобы Тамара поменьше появлялась на улице» – мелькнуло тревожное решение и, тяжело вздохнув, он побрёл в кабинет, чтобы позвонить по телефону Комаровскому и проверить сведения, принесённые дочерью.

XXIII.

Вечером того дня, когда было подписано с партизанами соглашение о сдаче Николаевска, начальник русского гарнизона, полковник Медведев, явился в штаб японского экспедиционного отряда.

– Я хочу попрощаться с майором Исикава, – сказал полковник. Встретивший его капитан Морита, хорошо говоривший по-русски, удивлённо посмотрел на Медведева.

– Вы хотите убежать из города?

– Нет, – улыбнулся полковник. – Бежать некуда.

Полковника провели к майору Исикава. Здесь же, по случаю тревожного времени, были и остальные офицеры японского гарнизона, а также моряк, старший лейтенант Мияки.

– Господин майор, – торжественно, печально заговорил полковник Медведев, после того, как поздоровался со всеми. – Я хочу попрощаться с вами и со всеми господами офицерами. Вместе с тем я беру на себя смелость от лица национальной России поблагодарить вас за ту помощь, которую вы неизменно и охотно оказывали нам в борьбе с большевиками. Борьба временно кончена, но она начнётся снова и вам, вероятно, ещё придётся встретиться в ратном поле с большевиками. Я думаю, что это будет очень скоро, так как не верю в прочность вашего мирного договора с Тряпицыным. Поверьте, господа, что я лучше знаю этих людей, чем вы, и думаю, что, впуская партизан в Николаевск, вы совершили большую ошибку. С большевиками нельзя ни о чём договариваться: это люди без чести. Те, кто подписали соглашение с Тряпицыным, взяли на свою душу большую ответственность за жизнь николаевцев и за жизнь членов вашей колонии, господа. Но то, что сделано – сделано. Теперь поздно об этом говорить: завтра партизаны входят в город. Итак, господа, позвольте старому русскому офицеру от души поблагодарить вас за помощь в борьбе против угнетателей России, против грабителей и убийц.

Старый полковник встал, вытянулся, щёлкнул каблуками, а затем поклонился майору Исикава. Японские офицеры, как по команде, вскочили и почтительно ответили на поклон Медведева.

Майор Исикава что-то негромко сказал капитану Морита. Тот с поклоном обратился к Медведеву.

– Майор думает, что так как вам грозит большая опасность от партизан, японский штаб, в виде исключения, может взять вас к себе, под своё покровительство. Как вы думаете?

– Передайте майору, – печально ответил Медведев, – мою благодарность. Но я старый кадровый офицер, и мне не пристало прятаться, а на милость красных сдаваться я не хочу. Я умру так же честно, как честно всю жизнь служил своей родине. Скажите майору, что в России тоже есть самураи, но харакири они делают не кинжалом, а вот с помощью этого.

Полковник похлопал ладонью по кобуре с наганом. Японцы взволнованно заговорили между собою. Капитан Морита снова поклонился Медведеву.

– Майор просит передать вам, что он вполне понимает те побуждения, которые руководят вами. Он говорит, что на вашем месте так же должен поступить каждый воин. Майор говорит, что никто из нас не знает, что будет завтра. Мы тоже не верим партизанам и, может быть, скоро погибнем в бою, если они на нас нападут. Поэтому майор просит вас о чести поужинать с нами. Никто не знает, встретимся ли мы ещё.

– Передайте майору, – ответил Медведев, – что я с благодарностью принимаю его приглашение. Это будет мой последний ужин на земле.

Майор Исикава почтительно пожал руку Медведеву и широким жестом пригласил его в столовую.

И никто не мог знать из этих людей, угощавших последним ужином самоубийцу, что он самый счастливый из них, что уже витала смерть среди участников странного ужина, что всего через две недели после этого вечера все присутствующие в этой комнате погибнут. Все – от майора Исикава до денщика, который подавал на стол скьяки и горячее сакэ.

XXIV.

Полковник Медведев вернулся в комендантское управление в 10 часов вечера. Подошёл к дежурной телефонистке, спросил, нет ли каких-либо новостей. Прочитал какую-то бумажку на столе, порвал её. Взял телефонистку за руку и нежно поцеловал измазанные в чернилах пальцы.

– Прощайте...

Повернулся и пошёл в свою комнату, оставив телефонистку в совершенном изумлении: чтобы этот сухой службист поцеловал руку! Вскоре телефонистка услышала негромкий выстрел...

Узнав о смерти Медведева, японцы, по распоряжению майора Исикава, взяли тело полковника и тайно похоронили его. Следуя примеру начальника, застрелились офицеры Слёзкин, фон Лауниц и Андреев. Они оказались самыми счастливыми из николаевцев.

В город уже вошёл боевой сподвижник Тряпицына товарищ Лапта с лучшей частью партизан – отрядом лыжников. И сейчас же стало известно, что схвачены многие офицеры; арестован был и рыбопромышленник Капцан.

С тревогой город ждал следующего дня – 28 февраля, когда должен был вступить со своими главными силами Яков Иванович Тряпицын.

XXV.

Строго-настрого приказав своим не показывать носа на улицу, Синцов, вместе с остальными горожанами, отправился встречать партизан. Перед самым уходом из дома Николай Иванович узнал, что Тамары нет дома, так как женская гимназия, вместе с другими школами, также должна была встречать партизан.

– Вот придумали! – сердито снял и одел пенсне Николай Иванович. – Могли бы детей-то не гонять на эту чепуху.

Город был густо украшен красными флагами и плакатами с надписями, приветствующими партизан и смену власти. Около городского сада оркестр музыки гремел Интернационал.

Партизаны входили в город в известном порядке. Но сердце Николая Ивановича болезненно жалось, когда он увидел тысячи угрюмых лиц, проходивших ряд за рядом мимо него. Партизаны были одеты кто во что горазд, шли кое-как, разговаривали и перекликались в строю. Всё это производило впечатление не воинской части, а банды разбойников.

Из рядов партизан слышались шуточки, ругательства и угрозы по адресу горожан. А те молча стояли, смотрели и думали, что, пожалуй, впустили в город самую настоящую шайку бандитов.

Подошли китайские и корейские роты.

– Тряпицын! Тряпицын! – зашелестело в рядах горожан.

Тряпицын ехал верхом, за отрядом лыжников товарища Лапты. Он сидел, гордо подбоченившись, сдвинув на затылок меховую шапку. На нём был отличный, хорошо пригнанный и франтоватый полушубок с чёрным анархическим бантом, хорошие офицерские сапоги.

Угрюмо, пронизывающе смотрел он серыми немигающими глазами на лица стоящих шпалерами горожан. Улыбался изредка, похлопывал нагайкой по сапогу.

– Какой красавец! – с отвращением вдруг услышал рядом с собой Николай Иванович женский фальшивый, томный голос.

Две раскрашенные дамочки с истерическим любопытством смотрели на Тряпицына.

– А этот! Посмотри! – стонала вторая.

Николай Иванович посмотрел в ту сторону, куда тянулись дамочки. Вслед за Тряпицыным ехал белокурый гигант, с весёлым, наглым лицом, со смелыми, голубыми весёлыми глазами. «Словно ушкуйники, атаманы воровских шаек!» – подумал Николай Иванович. И не знал, не верил, что с этим белокурым гигантом – Фроловым – скоро придётся ему иметь дело.

За Фроловым ехали верхом Нина Лебедева, Случайный, Бич, Леодорский, Комаров, Железин. Некоторых из них николаевцы знали, других не знали, но узнали, очень скоро.

С трибуны, устроенной около городского сада, Комаровский и городской голова Карпенко приветствовали Тряпицына от имени николаевского населения. Говорили они неуверенно, поспешно, как-то испуганно.

Вслед за ними на трибуну легко вскочил Тряпицын. Он заговорил – громко, отдельно, властно, помахивая и стуча по трибуне нагайкой.

– Вы приветствуете нас сейчас, когда я силой занял город. Раньше вы не хотели разговаривать со мной. Сейчас вам ничего не остаётся, как кланяться мне. Я вижу, что много, много белых гадов контрреволюции притаилось в вашем городе. Все они будут уничтожены. Я послал к вам однажды парламентёра Орлова – вы убили его. За его жизнь я уничтожу тысячу белой сволочи. Я никого щадить не буду – так и зарубите себе на носу. Сейчас время кровавой борьбы за советскую власть, и ее врагам пощады не будет. Нам ещё нужно взять Хабаровск, Владивосток и изгнать оттуда японцев, буржуазию и соглашателей и белых прихвостней-земцев и эсеров. Советская власть непобедима, и моё присутствие здесь хорошо доказывает вам это. Перед советской властью – мировые цели. Мы пойдём на оплоты мировой буржуазии – мы пойдём на

Европу, на Токио, Шанхай, на другие места. Поэтому я не потерплю, чтобы белые гады могли вонзить нам нож в спину. Они должны быть уничтожены – и я это очень скоро сделаю, вы увидите. Я беспощадно расправлюсь с офицерами, с буржуазией, с соглашателями – земцами и эсерами. Смерть им!

Тряпицын говорил ещё долго – и всё более и более серели лица горожан, жадно слушавших эти ужасные слова, эту яростную речь, видевших сатанинскую злобу, сидевшую в этом стройном человеке, с красивой головой, с серыми прекрасными глазами и твёрдым волевым подбородком. Смерть, костлявая смерть протягивала свои длинные руки из-за спины этого страшного человека с чёрным бантом на груди.

С ужасом в душе, с широко раскрытыми глазами, шёл домой после парадной встречи Николай Иванович. Все самые худшие его опасения начинали оправдываться.

Вечером он узнал, что арестованы Комаровский, Карпенко, Шелковников – те самые люди, которые настояли на сдаче города партизанам и так радостно их приветствовали. Арестованы были жена и мать Комаровского, арестованы были все офицеры, многие коммерсанты, их жёны, вся администрация области и масса людей, с которыми партизаны сводили личные счёты.

На другой день Николай Иванович узнал, что начались массовые расстрелы.

XXVI.

– Нет, я не помню вас, товарищ, – побелевшими губами бормотал Николай Иванович.

Он в ужасе пятился от трёх вооружённых людей, которые, подталкивая его, входили в квартиру.

– А я вас помню, товарищ Синцов, – хитро подмигивая Николаю Ивановичу, говорил небольшого роста, но широкоплечий, крепкий человек в солдатской шинели, с рябым, курносом лицом. – Вы ведь эсер. Ещё в восемнадцатом году мы, грузчики, хотели вас поучить немножко за ваше соглашательство с буржуазией. Теперь помните? Я секретарём в союзе грузчиков был.

– А, – неопределённо сказал Николай Иванович и растерянно улыбнулся. – Припоминаю, припоминаю... Давно это было...

– Да, давненько, – охотно кивнул рябой. – Вот до других времён дожили. Пока вы тут в хоромах сидели, мы по тайге да по морозу бродили, вместо хлеба японские пули кушали. А теперь к вам пожаловали. Принимайте дорогих гостей.

– Я – что ж... – сказал Николай Иванович. – Может, закусить желаете? Это можно – в один момент...

И внутренне содрогаясь от своего подобострастного, подленького тона, он оживлённо заговорил:

– Жена сейчас распорядится. Водчонки, конечно? Есть у меня запасец. Аня, иди сюда, у нас гости.

– Нет, это вы оставьте, – строго сказал один из троих партизан – очень высокий, белокурый человек с голубыми глазами. – Это в другой раз. Сейчас мы к вам по делу. За вашим сыном пришли.

– За сыном? – шепотом сказал Николай Иванович.

– Да. Как он белый солдат и участвовал в борьбе с пролетариатом, – подтвердил третий партизан – рыжий, болезненный и потому злой. – Давай сюда твоего гадёныша. Он в атаке на Циммермановку участвовал и ранен был. Мы всё знаем, так что скрывать тут нечего.

Партизаны собрали в столовой всю семью Синцовых. Пришёл из спальни сильно похудевший Леонид, недавно только вставший с постели. Рука его была на чёрной перевязи. Пришла

плачущая Анна Алексеевна. Тамара привела сестрёнок – Олю и Надю. Девочки с ужасом смотрели на партизан, держались за юбку старшей сестры и готовы были разреветься.

– Одевайся! – зловеще спокойно сказал рыжий Леониду.

– Куда вы его? – стоном вырвалось у Анны Алексеевны.

– В следственную комиссию, – ответил добродушно белокурый. – Вы, мамаша, не волнуйтесь. Ничего с ним не будет. Допросят – отпустят. Мы разве не понимаем? Несознательный он, против воли в колчаковцы пошёл. Но допросить нужно. Мы должны проверить, как он теперь будет вести себя насчёт советской платформы.

– А скажите, товарищ, – звенящий голос Тамары заставил белокурого гиганта повернуться и внимательно посмотреть на гимназистку, которая не опустила своих тёмных, блестящих глаз перед голубыми наглыми глазами. – Скажите, передачу ему можно носить, если его задержат на день-два?

– Это что, брат ваш?

– Да.

– Можно, конечно. Почему нельзя? Да его, наверно, не задержат.

– А как найти его? – снова спросила Тамара. – Вот вы уводите его, а мы даже не знаем, кто вы такие.

– Спросите в штабе товарища Фролова. Фролов моя фамилия. Милости просим, заходите в гости, будем рады.

Фролов захохотал – и снова внимательно посмотрел на девушку. На этот раз она опустила глаза.

– Ну, айда, товарищи. Да будет вам, мамаша! Что вы хороните его, что ли? Анна Алексеевна вцепилась в Лёню и навзрыд плакала. Он гладил её по голове, а она причитала – как-то совсем по-простому, по-бабьему:

– Мальчик мой бедный! Чужало моё сердце, ох, чужало! Вы его, товарищи, уж не обижайте, один он у меня сыночек. Отпустите его поскорее, а я вам уж обед хороший приготовлю. Ну, иди, иди, Лёня, – Господь сохранит тебя...

XXVII.

По дороге в тюрьму Фролов заговорил с Леонидом:

– Ну, что, брат, трусишь?

– Да нет, – тихо ответил Леонид. – Чего мне бояться? Я не офицер, был насильно мобилизован. Я ещё реального училища не окончил.

– Гадёныш ты! – зло сказал рыжий. – Отец буржуй, а ты – сын буржуй. Вот и пошёл народную кровь проливать. Все вы теперь говорите, что насильно. А под Циммермановкой в нас не стрелял? Я там был, видел, как вы насильно шли: мальчишки, а наступали хорошо. Говори, гад, стрелял в нас?

– Стрелял, – твердо ответил Леонид. – Приказывали – и стрелял.

– Ну, хорошо, хоть не врешь, – почти добродушно сказал Фролов. – Люблю отчаянных.

– А что со мной будет?

– А это неизвестно. Допросят тебя – там видно будет. Может, и отпустят.

– Укоцают – вот что будет! – зло пробормотал рыжий.

– Или заездки городить пошлют, – улыбнулся рябой. – Твой отец это дело знает – рыбалки имеет, буржуй. Теперь только по-другому будет. По голове – да в прорубь.

– Ну, не мели, будя! – перебил Фролов. – Не пугай мальчишку. Видишь, на нём лица нет. Может, и ничего не будет, отпустят. Эта барышня, что же, сестра твоя? Которая со мной говорила?

– Сестра.

– Хорошенькая! Глаза чёрные. Гимназистка, что ли?

– Да.

– Как зовут?

– Тамара.

– А хороша! За меня замуж пойдёт?

Фролов захохотал.

– Не знаю. Её спросите.

– Да уж спрошу как-нибудь. Понравилась мне. Смелая. Ну, ладно, товарищи. Вы мальчишку отведите в тюрьму, а я по другому делу пойду: есть тут один гад, хочу обязательно его поймать. Пока.

Фролов свернул в боковую улицу. Глубокий снег был расчищен вдоль тротуаров так, что образовались узкие траншеи. Но высокий Фролов ещё долго маячил над краем траншеи, которая прикрывала его только по пояс.

– Дом-то у вас собственный? – спросил Леонида рыжий партизан.

– Собственный.

– Ну, вот, настоящие буржуи! А говоришь – насильно взяли! Сам пошёл, своё имущество защищать, папашино брюхо. Знаем вас!

– Мой отец – по убеждениям социалист-революционер, эсер. Его царское правительство арестовывало. Он всегда за народ был.

– Сказочки это, – вкрадчиво, почти нежно заговорил рябой. – Мы этих эсеров знаем, молодой человек. Соглашатели они, хуже буржуев. Прикидываются только, что с народом. Вот ваш папаша, скажем. В 1918 году против нас речи говорил, большевиков разбойниками называл, а потом за японцев спрятался. Своё имущество спасал. Оно ему дороже народа. Нет, молодой человек, вы эти песенки бросьте. Нас не обманешь – кто за нас, кто против.

Около ворот тюрьмы стояла огромная толпа – масса баб, оборванцы, партизаны, какие-то неопределённые личности.

Толпа расступилась, пропуская Леонида и конвойных. Леонид увидел злобу и торжество на всех лицах, потянувшихся к нему.

– А, гадёныш! Это Синцова сынок, из отряда Токарева.

– Бей его! Давай его нам!

– В Амур его, гада!

– В бою с трудовым народом был ранен. Ишь, на перевязке.

Леонида ударила какая-то баба по затылку, другая плюнула ему в лицо. Кто-то пнул его очень больно по ноге, потом он получил такой удар в бок, что охнул и присел на корточки. Рыжий грубо поднял его.

– Ну, иди, иди! Не умрёшь!

Его втокнули в ворота под дикое улюлюканье толпы и передали надзирателю. Тот равнодушно отметил что-то в книге и повёл Леонида по длинному коридору.

– Деньги есть с собой? Спички, табак? Что есть? – спросил надзиратель у узкой двери в камеру.

– Есть, – кривясь и морщась от боли в боку, сказал Леонид. – Три рубля.

– Давайте.

Леонид отдал. Надзиратель отомкнул дверь камеры.

– Пожалуйте!

На Леонида пахнуло чем-то кислым, затхлым. Он вошёл в камеру. Там было столько народу, что заключённым приходилось стоять: камера была рассчитана на десять человек, как гласила надпись на двери, но было в ней около пятидесяти. Леонида встретил гул сочувствующих голосов:

– Синцова Николая Ивановича сын.

– А, Лёня! Тебя тоже притащили.

– Звери! И ребят не щадят!

Леонид увидел подполковника Григорьева, инженера Курушина, офицеров Усачёва, Немчинова, который сдавал Николаевск красным, Бармина, священника Воецкого и других. Усачёв и Немчинов сидели в странных позах, на корточках, прижавшись к стене.

– Что с ними? – дрожащими губами спросил Леонид.

– Пороли шомполами, – ответил кто-то. – Вся спина у обоих – кровавая язва. Вчера выводили их на Амур. Они простились с нами, думали – конец. Но их только поводили около проруби, попугали, потом вернули в тюрьму, сильно били, пороли, жгли лицо папиросами, а потом опять втолкнули сюда.

– Да, Лёничка, плохо наше дело, – погладил по руке трясущегося юношу Григорьев. – Тебя, может, и пощадят, а нам, офицерам, конец.

Леонид почувствовал, как у него подкосились ноги – от боли в боку, от дурного, тяжёлого воздуха, от вида измученных людей, от ужаса перед будущим. Страшным усилием воли он подавил тошноту и подступающий к горлу комок слез. Кто-то протянул ему кружку с водой.

– Вот единственная роскошь, которую мы имеем...

XXVIII.

В коридоре послышался топот многочисленных шагов. Заключённые как-то сжались, побелели, жадно прислушиваясь к шагам, затаив дыхание. Загремел замок, засов, распахнулась дверь. Плотный мужчина с грубым, мрачным лицом, шагнул в камеру. От него сильно пахло спиртом.

– А ну, кто офицеры, выходи в коридор!

Вышло несколько человек.

– Раздевайся, скидавай всё!

На глазах у оставшихся в камере офицеры стали снимать пальто, шинели.

– Всё, всё снимай, гады! – человек помахивал плетью. – Всё снимай, до белья!

– Так тут холодно, товарищ, – робко заикнулся кто-то. – Как же мы на допрос в следственную комиссию пойдём?

– Никаких допросов вам не будет! Все пойдёте на луну, а там одёжи не надо!

Партизан грубо захохотал. Офицеры разделись и остались в одном белье – бледные, дрожащие от холода и волнения.

– Ну, марш назад, в камеру! Только двоих я у вас возьму – Усачёва и Немчинова. С ними другой разговор будет. И ещё попа долгогривого. Как его?

Партизан посмотрел в бумажку.

– Воецкий, выходи сюда, в коридор! Будет народ морочить! Я с тобой о твоём Боге иначе поговорю.

Партизаны здесь же, в коридоре, стали делить снятую с офицеров одежду, ссорились между собой, матерились. Трёх заключённых – двух офицеров и священника – увели.

С железным скрежетом дверь в камеру захлопнулась. Загремел замок. Оставшиеся вздохнули с облегчением: ещё не пришёл час... Но недолго был отдых их измученным нервам. В коридоре послышался грохот, стук прикладов, шаги, потом истерический женский крик:

– Вы не смеете меня бить! Я женщина! Какое вы имеете право истязать меня!

– Не разговаривай, ведьма! Говорят тебе, раздевайся! – пробасил кто-то. – Пороть тебя будем за то, что белым гадам помогала!

Послышалась возня, женские рыдания, истерические крики:

– Звери! Звери! Убийцы!

– Раздевай её, стерву!

Удары по телу, нечеловеческий вой, который постепенно стал переходить в стоны. Потом и они прекратились. Слышны были только мерные удары по голому телу. Леонид помертвелыми глазами смотрел на белые лица окружающих.

– Что же это? Женщину?

– Это мать инженера Комаровского. Я по голосу узнал, – сказал кто-то. Его жену уже пороли сегодня. Пороли и жену Люри, жену поручика Токарева и других женщин. Никого не щадят. Из Токарева, знаете, что сделали? Это мешок из костей и крови. Он помешался, рычит, как животное, когда к нему подходят партизаны, жуёт солому. А напротив нас камера корнета Парусинова. Его порют каждый день. Вся спина его гниёт. У него сломана ключица, сломана рука. Его допрашивают главные убийцы – Морозов и Оцевилли. Тушили об его лицо папиросы. Сейчас Парусинова на пытки уже не водят, а носят на носилках. Ходить он не может. И всё равно бьют каждый день. Да вот – кажется, опять за ним пришли...

Снова тяжёлые шаги по коридору, лязг замка у камеры напротив. Весёлый, пьяный голос:

– Ну, что, жив ещё, гад? Не сдох?

И спокойный, какой-то мёртвый в своём спокойствии ответ:

– Что, мерзавцы, опять пришли за корнетом Парусиновым? Жив ещё корнет Парусинов! Жив ещё корнет Парусинов и может терпеть. Ну, подходите и берите...

Леонид услышал торопливые, беспорядочные шаги людей, несущих что-то тяжёлое.

– Ну, сегодня наверно прикончат, – прошептал кто-то в камере. – В чём душа держится у человека... Не прощают они Парусинову, что был он помощником начальника политической охраны.

Где-то в коридоре слышались женские вопли – из самой глубины души рвущиеся крики боли, стыда и отчаяния.

– Комаровскую или Бацевич порют. Бедные, бедные мученицы...

Леонид почувствовал, как у него потемнело в глазах. С истерическим рыданием он опустился на колени.

XXIX.

Около японского штаба толпилась большая группа русских женщин. Часовые в меховых безрукавках, с наносниками, предохраняющими от мороза, преграждали женщинам вход в штаб. Но женщины упрямо напирали на часовых, умоляюще говорили:

– Аната, аната... Морита-сан, Морита-сан!

Некоторые женщины плакали. Один из часовых вошёл в дом, и через некоторое время к женщинам вышел капитан Морита.

– Что такое? Что вы хотите? – спросил он, хотя отлично знал, чего хотят эти измученные, плачущие женщины, сердца которых обливались кровью в думах о судьбе мужей, братьев, отцов, сыновей.

Это паломничество в японский штаб стало повторяться по нескольку раз в день.

– Мы хотим говорить с майором Исикава, – сразу ответили несколько голосов.

– Но майор занят... ему некогда.

– Он должен нас принять... мы должны ему рассказать...

Капитан Морита был в видимом затруднении. Он смотрел на эти заплаканные лица, в скорбные глаза, на эти страдальческие складки у рта.

Он тяжело вздохнул.

– Хорошо. Но не все. Пусть войдут три делегатки. Всем нельзя – это очень много народа, много шума. Майор очень занят.

Две седых старухи и одна молодая женщина выделились из толпы и пошли за капитаном Морита. Он провёл их в приёмную комнату штаба, и очень скоро к ним вышел майор Исикава.

– Мы хорошо понимаем, – сказал капитан Морита, – почему вы пришли к нам. Но мы очень опасаемся, что не сможем вам помочь.

– Господину майору, – быстро и нервно заговорила молодая женщина, – хорошо известно положение в городе. Партизаны нарушают каждый день условия мирного договора. Каждый день производятся аресты. В тюрьме, в милиции и на гауптвахте уже сотни людей. Много расстреляно. В тюрьме порют, мучают, пытают. С каждым днём всё хуже и хуже. Никто не гарантирован от ареста, от пыток, от смерти на льду Амура. Убивают людей, которые ни в чём не участвовали, – просто сводят старые счёты. Грабят, насилуют женщин, девушек и даже девочек, почти детей. Если дальше будет так – мы все погибнем. Мы просим, мы умоляем майора Исикава спасти нас, спасти наших родных и близких, которые сидят в тюрьме и которым грозит ужасная смерть. Только вы, японцы, можете нам помочь, потому что вас партизаны боятся. Если вы потребуете от них, чтобы они прекратили безобразия, то они прекратят. А иначе нам всем смерть.

Капитан Морита поговорил с майором Исикава, который во время горячей речи женщины не спускал печальных глаз с ее страдальчески подёргивающегося, измученного лица.

– Майор говорит, – сказал Морита, – что японскому штабу очень хорошо известно, что делается в городе. Майор говорит, что ему очень вас жаль и что он собирается потребовать от штаба Тряпицына, чтобы всё это прекратилось. Завтра мы будем требовать, чтобы партизаны исполняли условия мирного договора, который они подписали. Мы надеемся, что они послушаются. Майор очень сожалеет, что партизаны оказались такими плохими людьми.

Обнадёженные женщины простились и вышли из штаба к толпе. К этому времени вокруг женщин скопилось много партизан, привлечённых сборищем у японского штаба. Партизаны лузгали семечки, посмеивались:

– Жаловаться японцам прибежали? Подождите, гадюки, мы вам покажем, как жаловаться. Всех вас изничтожим. А заодно и ваших японцев на Амур отправим. Подожди, дай срок. Всем конец будет!

XXX.

Капитана Морита, поручика Окада и лейтенанта Мияки в штабе Тряпицына встретили его ближайшие помощники – Наумов, Фролов, Нина Лебедева и секретарь штаба, товарищ Чёрный. Японских офицеров провели в большой кабинет, где их ждал Тряпицын. Он сидел за огромным письменным столом – любимым столом убитого партизанами николаевского рыбопромышленника Люри – и небрежно играл, перебрасывая из руки в руку, новеньким офицерским наганом. При появлении японцев он не встал, небрежно ответил на их поклон и широким жестом показал на стулья.

– Садитесь, господа японцы. Чем могу служить?

Его сумрачные, серые глаза с нескрываемой насмешкой упёрлись в гостей. Нина Лебедева села рядом с ним, на край стола, остальные разместились на мягких креслах – разнокалиберных, собранных со всего города.

– Я пришёл к вам, – начал капитан Морита, – чтобы заявить протест от имени майора Исикава против многочисленных нарушений подписанного господином Тряпицыным мирного договора. Господин Тряпицын обещал не трогать городское население и никого не обижать. Но ваши солдаты каждый день арестовывают мирных жителей, отнимают у них имущество, а самих убивают. Наш штаб это знает. Это не хорошо. Культурные люди должны соблюдать договоры. Мы уже несколько раз заявляли вам об этом, но всё идёт по-старому. Вы арестовали сотни людей. Население очень недовольно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.